

*КУЛЬТУРА  
И  
ТЕКСТ*

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«АЛТАЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»

# **КУЛЬТУРА И ТЕКСТ**

**НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ**

**Выходит два раза в год**

**№ 1(14)**

**2013**

**БАРНАУЛ**

# КУЛЬТУРА И ТЕКСТ

№ 1(14) 2013

Редакционная коллегия

Главный редактор –  
**Козубовская Галина Петровна,**  
доктор филологических наук, профессор

Ответственные редакторы по разделам

**Лингвистика** – Бринев Константин Иванович  
**Литературоведение** – Козубовская Галина Петровна  
**Философия. Культурология** – Ан Светлана Андреевна

Редколлегия:

Бутакова Л.О. (д.ф.н., проф. ОмГУ, Омск), Габдуллина В.И. (д.ф.н., проф. АлтГПА, Барнаул), Голев Н.Д. (д.ф.н., проф. КемГУ, Кемерово), Голубков С.А. (д.ф.н., проф. СамГУ, Самара), Гончарова О.М. (д.ф.н., проф. РГПУ им. Герцена, Санкт-Петербург), Гончаров С.А. (д.ф.н., проф. РГПУ им. Герцена, Санкт-Петербург), Гребнева М.П. (д.ф.н., проф. АлтГУ, Барнаул), Дубровская Т.В. (д.ф.н., доц. Пензенского государственного университета, Пенза), Емельянов Б.В. (д.ф.н., проф. УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург), Козлова С.М. (д.ф.н., проф. АлтГУ, Барнаул), Колесов И.Ю. (д.ф.н., доц. АлтГПА, Барнаул), Крылова Татьяна (переводчик-лингвист, магистр права, Братислава), Лебедева Н.Б. (д.ф.н., проф. КемГУ, Кемерово), Мирошникова О.В. (д.ф.н., проф. ОмГПУ, Омск), Орлицкий Ю.Б. (д.ф.н., проф. РГГУ, Москва), Рогачева Н.А. (д.ф.н., проф. ТюмГУ, Тюмень), Семилет Т.А. (д.ф.н., проф. АлтГУ, Барнаул), Семькина Р.Н. (д.ф.н., проф. ААЭП, Барнаул), Синеокова Т.Н. (д.ф.н., проф. НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород), Скатов Н.Н. (чл.-корр. РАН, ИРЛИ, Санкт-Петербург), Трунова О.В. (д.ф.н., проф. АлтГПА, Барнаул), Фарыно Ежи (д.ф.н., проф., Польша, Варшава), Ходанен Л.А. (д.ф.н., проф. КемГУ, Кемерово), Худенко Е.А. (д.ф.н., доц. АлтГПА, Барнаул), Яковлева Е.А. (д.ф.н., проф. БГПУ им. М. Акмуллы, Уфа)

Секретарь –  
Капустина Евгения Александровна

ISSN 2305-4077

Адрес редакции: 656031, г. Барнаул, ул. Молодежная, 55, Алтайская государственная педагогическая академия, филологический факультет, оф. 525. Тел. 8 (3852) 24-24-43. Адрес электронной почты: galina\_mifo@mail.ru

## СОДЕРЖАНИЕ SLAVICA

<b>Агнеш Дуккон</b>	4
ДИАЛОГ ТЕКСТОВ: «ГОЛОС» В.Г. БЕЛИНСКОГО» В «ЗАПИСКАХ ИЗ ПОДПОЛЬЯ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО	
<b>В.В.Савельева</b>	29
ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИПНОЛОГИИ: ОНЕЙРОПОЭТИКА ЖЕНСКИХ СНОВ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ	
<b>Т. Крылова, М. Штевкова</b>	42
ОБРАЗОВАНИЕ И МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ – ДОРОГА К КАЧЕСТВЕННОМУ ПЕРЕВОДУ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ. ОПЫТ СЛОВАКИИ	

## ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

<b>В.В. Борисова</b>	55
ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТЬ В «ДНЕВНИКЕ ПИСАТЕЛЯ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО	
<b>Е.А. Осокина</b>	60
АЛЬФА И ОМЕГА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	
<b>В.Н. Сузи</b>	74
ДОСТОЕВСКИЙ И ПРЕП. МАКСИМ ИСПОВЕДНИК	
<b>Р. С-И. Семькина</b>	84
ДВОЙНИЧЕСТВО В РОМАНЕ В.С. МАКАНИНА «АНДЕГРАУНД, ИЛИ ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»	

## ЛИНГВИСТИКА

<b>Г.В. Кусов</b>	93
ДИАГНОСТИКА КВАЛИФИЦИРУЮЩЕГО ПРИЗНАКА «НЕПРИЛИЧНАЯ ФОРМА» В СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ	

## ФИЛОСОФИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ

<b>Е.А. Кожемякин, Д.К. Манохин</b>	115
СЕМИОТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ	

## ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

МЕТОДИЧЕСКАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ	133
---	-----

138

## НОВЫЕ КНИГИ

---

---

SLAVICA

Агнеш Дуккон<sup>1</sup>

*Будапештский университет им. Лоранда Этвеша*

**ДИАЛОГ ТЕКСТОВ: «ГОЛОС» В.Г. БЕЛИНСКОГО» В  
«ЗАПИСКАХ ИЗ ПОДПОЛЬЯ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО**

В статье анализируется парадигма В.Г. Белинский – Ф.М. Достоевский в связи с философическим контекстом середины XIX века, прослеживаются, как отвлеченные идеи, запечатленные в *текстах*, становятся *жизнью*, а жизнь превращается в *слово*.

**Ключевые слова:** анархизм, двойничество, диалог, Достоевский, философия

Ágnes Dukkon

*Budapest, Eötvös Loránd University*

**THE DIALOGUE BETWEEN TEXTS: VISSARION  
BELINSKY'S «VOICE» IN FYODOR DOSTOYEVSKY'S  
«NOTES FROM THE UNDERGROUND»**

The paper reviews the problem of the complex relations between Belinsky and Dostoevsky against the background of philosophical mid-19<sup>th</sup> century trends, central in the analysis being not the ideas themselves, but *texts*: the article traces how abstract ideas become *life itself* for the critic and the writer, and the way life is transformed into *word* for both.

**Key words:** anarchism, dialogue Dostoevsky, philosophy, «twinning».

---

<sup>1</sup> Дуккон Агнеш (венг. Dukkon Ágnes) – доктор филологических наук (по русской литературе), доктор Венгерской Академии Наук (по венгерской литературе ренессанса и барокко); член Комитета Культурологии при ВАН; председатель Компаративистского Комитета Общества Современной Филологии. Место работы: Институт Славянской и Балтийской Филологии, Кафедра Русского Языка и Литературы университета им. Лоранда Этвеша (ELTE) (г. Будапешт).

Уже больше четверти века занимает меня этот вопрос [Дуккон, 1986, Дуккон, 1987, Dukkon, 1992, Дуккон, 2010]. Актуальность темы не снимается; в последние десятилетия появились статьи, в которых затрагиваются вопросы влияния анархической философии XIX века на В.Г. Белинского и Ф.М. Достоевского [Тусичишный, 2009; Кибальник, 2012]. Для нас интересно, что скрывается за **идеями**: вопросы эпохи, волнующие мыслящих людей, сознательно, полусознательно и бессознательно встраиваясь в их сознание, овеществляются в творчестве.

Давно уже философы и литературоведы [Шестов, 1964; Долинин, 1963] обратили внимание на скрытое «двойничество» Достоевского и Белинского<sup>1</sup>.

Повесть «Записки из подполья» считается важной вехой в творчестве Достоевского. Она – как водораздел – суммирует на более высоком уровне все проблемы предыдущего периода и одновременно открывает новые перспективы в литературном изображении сугубо философических вопросов.

«Записки из подполья» Достоевский создал во время болезни и смерти своей первой жены, Марии Дмитриевны. К этому времени за ним уже т.н. гоголевский период, Сибирь и «переживание» каторги; повести и романы 1840 - 50-х гг., обогащающие традицию изображения «маленького человека»; за ним уже и оживленная публицистическая деятельность в редакции «Времени» и «Эпохи», первое путешествие по Западной Европе, о котором он рассказывает в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863), накануне «открытия» «подпольной темы». Все эти переживания и впечатления в сжатой форме отражаются в парадоксальном герое «Записок...». И хотя в научной литературе о Достоевском уже исследованы биографические факты, связанные с этой повестью, и ее идейные аспекты, но художественное произведение – по природе своей – всегда призывает к диалогу, понуждает читателя снова и снова разгадывать тайны.

---

<sup>1</sup> Я хотела бы еще раз вернуться к основным проблемам своей статьи «Жизнь и литературная фикция...» [Dukkon, 1986], опубликованной в Венгрии в сборнике Сегедского Университета (1986), вышедшем маленьким тиражом, дополнив ее.

---

В середине 1860-х гг. Достоевский переходит от изображения маленьких людей с уязвленным самосознанием (Девушкин, Голядкин) или мечтателей (Ордын в «Хозяйке», герой «Белых ночей») к созданию образа «сверхчеловека» – в главных чертах предшественника ницшеанского *Übermensch*. Появление русского сверхчеловека и немецкого *Übermensch* нельзя считать случайным совпадением или просто типологическим сходством – хотя и мы не предполагаем какую-то тесную связь и преемственность в художественной и философической постановке вопроса. Известно, что на Ф. Ницше Достоевский оказал большое влияние [Podach, 1961], но есть связующее звено между Сверхчеловеком Достоевского и Ницше: это книга немецкого философа Макса Штирнера «Единственный и его достояние» (1845)<sup>1</sup>. Молодой Ницше – по утверждению некоторых современников – мог познакомиться с книгой Штирнера через Гартманна (*Philosophie des Unbewußten*, Berlin, 1869) и Ланге (*Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart*, 1866), но не исключено и прямое знакомство, хотя это не подтверждается документально [Brobjer, 2003]. Зрелый Достоевский познакомился с идеями Штирнера в 1860-е г. [Отверженный, 1925], но книга Штирнера была известна в кругу Белинского в немецком издании. В середине 1840-х гг., как отмечает П.В. Анненков в своих воспоминаниях, она попала в руки Белинского, и это совпало с его разочарованием во французских социалистах-утопистах, прежде бывших предметом его воодушевления [Анненков, 1909].

Белинскому – как об этом свидетельствует его переписка – были близки те идеи и учения, в которых человеческой личности, неповторимости человеческого «Я» отводится особенно важная

---

<sup>1</sup> Немецкое издание: Stirner M. Der Einzige und sein Eigenthum. – Leipzig, 1845. О влиянии Штирнера на Ницше уже больше столетия ученые спорят. Мы разделяем позицию тех, кто понимает «влияние» в широком смысле слова, т.е. в форме какого-то духовного соприкосновения или вдохновения, без доктинерства или еще менее без «плагиата» – хотя некоторые исследователи допускают и это. Интересно проследить историю полемики на сайте «Relationship between Friedrich Nietzsche and Max Stirner» [http://en.wikipedia.org/wiki/Relationship\\_between\\_Friedrich\\_Nietzsche\\_and\\_Max\\_Stirner](http://en.wikipedia.org/wiki/Relationship_between_Friedrich_Nietzsche_and_Max_Stirner).

роль. Его «философские мытарства» в связи с Гегелем и потом с французскими утопистами вытекали именно из стремления насильно (и против своей духовной склонности) полюбить те системы, в которых возвеличивается Всеобщее, а индивидуум подчиняется «этому Молоху» (так он в своих письмах называет гегелевское Allgemeine). Еще будучи членом кружка Станкевича, в 1830-е гг., он страстно полемизирует с Бакуниным по поводу понимания таких категорий философии Гегеля, как «Абсолют», «Всеобщее» и т.д. Уже в этой полемике очевидно, что Белинского не будут устраивать эти отвлеченные понятия, что философия нужна ему не как предмет познания, а как духовная пища, как живой источник развития своей личности; но для такой цели гегелевская философия, да и вообще современные философские системы, малопригодны<sup>1</sup>. Гонимый постоянной тоской по какой-то настоящей ценности, после ряда разочарований в различных философских учениях, он вдруг знакомится с индивидуальным субъективизмом Штирнера. Ирония судьбы заключается в том, что Белинский искал «положительного абсолюта», а Штирнер предлагает негативный конец: мрачное достоинство и пустоту отрицания, nihil. Но именно в его философии есть элементы, которые для Белинского могли быть очень понятными и симпатичными: индетерминизм и отрицание всякой метафизики. Немецкий философ проповедует и защищает право индивидуума и отвергает лозунги французской революции, такие, как равенство, социальность, а эти понятия очень важны для Белинского: он дорожил ими даже тогда, когда перестал восторгаться какой бы то ни было философией.

---

<sup>1</sup> Но его философические искания не привели к полному отрицанию гегелевской эстетики. Польский литературовед Гжегож Пшебинда посвятил большую главу в своей книге этому вопросу: с одной стороны, он указывает на те главы критического творчества Белинского, которые сохранили влияние эстетической системы Гегеля, а, с другой стороны, подчеркивает наличие евангельского начала в духовном развитии Белинского, даже в раннем периоде. Мы думаем, именно в этом коренится его интерес к «единственности», уникальности каждого отдельного человека. См. [Przebinda, 1998].

Но отрицание Штирнера могло заинтересовать Белинского и потому, что оно, в отличие от системы Гегеля, создает самый радикальный индивидуализм, систему эгоизма, причем это не инстинктивный, животный эгоизм, а сознательный: человек хочет освободиться от всех цепей, от Бога, человечества, общества, веры, правды, чтобы, наконец, **найти самого себя**. Это же стремление характерно и для Белинского. В письме к Василию Боткину он пишет: «Мне теперь ни до кого нет дела, я никого не люблю, ни в ком не принимаю участия – потому что для меня настало такое время, когда я увидел ясно, что *или мне надо стать тем, чем я должен быть* (Курсив мой. – А.Д.), или отказаться от претензии на всякую жизнь, на всякое счастье» [Белинский, 1956, XI, с. 416].

Можно было бы привести еще доказательства схождения некоторых положений Штирнера и Белинского, раскрыв психологическую мотивацию интереса русского критика к немецкому философу, но для нас более значимы различия. Штирнер, несмотря на свою последовательность и искренность в отрицании, так же, как прежде Шеллинг, Гегель, французы, сулил бы Белинскому, если бы он увлекся его философией, новое разочарование. Ведь Белинский остался в душе «романтиком» и после своего «отрезвления» (как он называл в письмах свой духовный переворот на рубеже 1830 – 40-х гг.) он не мог жить без «прекрасного и высокого», как и бунтующие герои Достоевского (Подпольный человек, Раскольников), издевающиеся над собой; для него честь, правда, мораль всегда оставались ценностями. Отрицание Белинского вытекало из разочарования, отчаяния, будучи мотивированным психическими факторами, у Штирнера все строится на логике, и чувства не играют никакой роли. По свидетельству Анненкова, Белинский в этот раз был более осторожным: «Он уже боялся прямого, непосредственного философствования, и не хотел к нему возвращаться после своих старых опытов на этом поприще» [Анненков, 1909, с. 346].

Белинский, обладая тонким чутьем, заметил новые, интересные элементы в философии Штирнера, но уже не «влюбился» в нее, не отдался ей, как в молодости: жестокость системы немецкого философа и усиливающаяся болезнь Белинского сделали невозможным какое бы то ни было увлечение. Перед ним открылась та же пропасть, которую увидел чеховский персонаж,

профессор из повести «Скучная история»: остались лишь картины прошлого с чувством разочарования, исчезла перспектива будущего. Но Белинский – как воспитанник эпохи позднего романтизма – боролся до конца, служил русской культуре со слабеющей силой и верой – но *все-таки* служил!

Достоевский в начале 1860-х гг. тоже познакомился с книгой Штирнера [Отверженный, 1925], и следы этой «встречи» в некотором отношении обнаруживаются в подпольном человеке и Раскольникове (см., напр., эгоизм первого – «миру ли провалиться или мне чаю не пить?») и идеи второго о сильной личности, о совести как о предрассудке и т.п.).

«Единственный» (Der Einzige) Штирнера, сверхчеловек Достоевского и Übermensch Ницше, являясь совокупностями, центрами философских воззрений каждого создателя, указывают на некоторую преемственность в вариантах отрицающего или необыкновенного человека. Можно так сформулировать связь между ними: на пути искания самого себя (self, внутреннего человека) у всех троих открылась *via negativa* (как у средневековых богоискателей), но они отправились по этой дороге до последнего предела по-разному. «Сверхчеловек» Достоевского и Übermensch Ницше стоят ближе друг к другу, чем к их предшественнику – эгоисту Штирнера. Венгерский философ Лайош Фюлеп (1885-1970) подчеркивает различия между штирнеровским и ницшеанским подходом: по его мнению, Ницше оказывается более поэтом и менее философом при создании своего сверхчеловека, он не доходит до абсолютного отрицания, как Штирнер, а только совершает трансформацию добра и зла, и под этой трансформацией скрывается ностальгия по прекрасному и высокому [Fülep, 1974]. Он добавляет, что в отношении имморализма и эгоизма не Ницше, а Штирнер является последним звеном – хотя он и предшествует Ницше.

Для нас очень важен тот факт, что видоизменения шиллеровского «прекрасного и высокого» появляются у Белинского, Достоевского и Ницше параллельно с влиянием Штирнера: у всех троих то гротескное, то трагическое чувство тоски по абсолютным ценностям сочетается с жестоким бунтом и отрицанием. Интерес к идеям Штирнера (в различной степени, более или менее скрыто или явно) всех троих авторов

свидетельствует о том, что литературные варианты сверхчеловека у каждого одинаково связываются с поисками героя, формы, задачи, истины – и эти искания одинаково мотивированы глубоким духовным кризисом. Родственность настроений и исканий Белинского, Достоевского и Ницше обнаруживается в «Записках из подполья», на этот фрагмент обращает внимание Лев Шестов: «Но Ницше знал “Записки из подполья” и восторженно о них отзывался. Нет ничего невозможного в том, что его столь вызывающая фраза – *pereat mundus, fiat philosophia, fiat philosophus, fiam* (пусть погибнет мир, но будет философия, будет философ, я сам) есть только перевод слов подпольного человека: «свету ли провалиться или мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда был» [Шестов, 1964, с. 201].

Слова «*fiat justitia, pereat mundus*», процитированные Шестовым, фигурируют и в письме Белинского к Боткину от 8 сент. 1841 г., когда он рассуждает о том, что людей – из-за их глупости – надо насильно вести к счастью и кровь тысячей ничтожна по сравнению с унижением и страданием миллионов: «К тому же, воспитание всегда делает нас или выше или ниже нашей натуры, да сверх того, с нравственным улучшением должно возникнуть и физическое улучшение человека. И это делается через социальность. И потому нет ничего выше и благороднее, как способствовать ее развитию и ходу. Но смешно и думать, что это может сделаться само собою, временем, без насильственных переворотов, без крови. *Люди так глупы, что их насильно надо вести к счастью* (Курсив мой. – А.Д.). Да и что кровь тысячей в сравнении с унижением и страданием миллионов. К тому же: *fiat justitia – pereat mundus!*» [Белинский, 1956, XII, с. 71].

Эта крылатая фраза играет также центральную роль в философии Штирнера, только там она не сочетается с якобинской программой насильственного просвещения и облагодетельствования людей, как у Белинского, а говорит об упразднении всяких идей, верований, идеологий с целью освобождения человечества от старых духовных и моральных связей. Джон Кэрроль, английский исследователь европейских либерально-рационалистических идей XIX в., обращает внимание на то, что книга Штирнера является психологической философией развития «Я», своего рода проповедью самоосуществления, и,

таким образом, ее можно даже связывать с романом развития (*Bildungsroman*)<sup>1</sup>. Автор цитирует мнение Белинского о книге Штирнера, подчеркивающего, что отрицание, нигилизм немецкого философа является отнюдь не самоцельным анархическим жестом, а скорее психологическим обоснованием эгоизма, разоблачением лицемерия. Читая переписку Белинского, можно заметить острые выпады против маскировки настоящих человеческих стремлений во имя идей; в центре его страстной полемики с Бакуниным стоит именно право на беспредельную открытость, незавершенность личности, право оставить за собой последнее слово (что становится основой и поэтики Достоевского!): «Надо влезть в мою шкуру, чтоб узнать, чего мне нужно. Только поэтам предоставлена завидная участь вполне высказать себя, а нашему брату и то хорошо, коли удастся намекнуть» [Белинский, 1956, XII, с. 266].

Кэрроль считает Штирнера предшественником психологического мышления («psychological thinking») – метода, развиваемого далее Фрейдом. Основа философической инновации Штирнера и Ницше – это онтология, их принципиально новое понятие о религии, морали, о политической и общественной жизни. Белинский, как и Достоевский, понимал проблему личности и жизни именно в этом ключе, т.е. радикально. Цитируем опять Белинского, которому удалось, кстати, очень точно «намекнуть»: «Нет, Мишель, человек не машина – рычаг его движения в нем, а не вне: пусть себе всякий идет своими путями – кто спасается, спасайся, кто погибает – не мешай ему погибать» [Белинский, 1956, XI, с. 485].

Подпольный человек Достоевского, в образе которого отчасти осуществилась «завидная участь поэта вполне высказать себя», является опосредующим звеном между Белинским и Ницше (если представить себе виртуальную линию с 1840-х гг. по 1860 – 70-х гг.): можно проследить преемственность от кризисного состояния Белинского к возникновению образа подпольного человека (который родился из кризисного состояния Достоевского) и к сверхчеловеку Ницше. Эти три вызывающие позиции, кроме бунта,

---

<sup>1</sup> «*Der Einzige* is a psychological philosophy of the growth of *ego*, of self-realization, and as such shares with the *Bildungsroman*» [Carrol, 1974, с. 16].

---

выражают еще печаль и трагизм одиночества, чувство, которое иногда переходит в презрение к «обыкновенным людям», к толпе. Читая Достоевского, М. Горький тоже обратил внимание на связь между русским и немецким сверхчеловеком; для него повесть «Записки из подполья» освещает всю философию Ницше: «Весь Ф. Ницше для меня в «Записках из подполья». (...) В этой книге – ее все не умеют читать, – дано на всю Европу о/бо/снование нигилизма и анархизма. Ницше грубее До/стоевского» [Горький, 1968, с. 21].

Когда молодой Белинский в кружке Станкевича и под влиянием Бакунина увлекся идеями Шеллинга, Фихте и объективным идеализмом Гегеля, он не подозревал, какой вред нанесет себе тем, что свою живую жизнь во что бы то ни стало захочет перевести в этот отвлеченный мир; сознательно и бессознательно, измеряя себя Всеобщим и Абсолютом. В письме М. Бакунину 16 августа 1837 г. он исповедуется, отмечая уязвимость своего духовного состояния под влиянием этого философского приключения: «Жизнь идеальная и жизнь действительная всегда двоились в моих понятиях: прямухинская гармония и знакомство с идеями Фихте, благодаря тебе, в первый раз убедили меня, что идеальная-то жизнь есть именно жизнь действительная, положительная, конкретная, а так называемая действительная жизнь есть отрицание, призрак, ничтожество, пустота. И я узнал о существовании этой конкретной жизни для того, чтобы узнать свое бессилие усвоить ее себе; я узнал рай, для того чтобы удостовериться, что только приближение к его воротам – не наслаждение, но только предощущение его гармонии и его ароматов – есть единственная возможная моя жизнь» [Белинский, 1956, XI, с. 175].

Белинскому кажется, что идеал и действительность исключают друг друга, появляются как мучительная двойственность, ставящая человека перед выбором. По сути дела, он перефразирует платоновский парадокс (что было естественно под влиянием Гегеля и Фихте) и признается, что идеальный мир ему недоступен, возможно лишь приближение к идеалу. Несколько лет продолжается это колебание Белинского между духом и материей: то эмпирическую действительность называет он палачом личности, то стремление к духовному миру – пустым прекраснотушим; то примиряется с эмпирией и видит врага в отвлеченных идеалах, то

считает самого себя жертвой этой двойственности. Результат борьбы – уяснение собственного положения – оказывается всегда отрицательным, потому что он в самом начале мало верит в положительную возможность, он готов считать себя недостойным «идеала». Самоосуждение у него сильнее, чем самоутверждение.

Около 1841 г. он дошел до той точки, когда порвалась натянутая струна. В этот период он написал В. Боткину знаменитое письмо (8. сент. 1841), на которое часто ссылаются литературоведы и философы, в том числе и Л. Шестов, который справедливо видит здесь прообраз бунта Ивана Карамазова [Шестов, 1964, с. 175]. В этом письме Белинский отказывается от гармонии, купленной страданием, от мысли, заимствованной из гегелевской философии, согласно которой, дисгармония есть условие гармонии, историческое развитие неизбежно требует жертв. Он страстно вопрошает, имеет ли он право отдаваться искусству и знанию, когда в плохо устроенном мире нет возможности делиться своим пониманием с ближними: «Что мне в том, что гений на земле живет в небе, когда толпа валяется в грязи? Что мне в том, что я понимаю идею, что мне открыт мир идеи в искусстве, в религии, в истории, когда я не могу этим делиться со всеми, кто должен быть моими братьями по человечеству, моими ближними по Христу, но кто – мне чужие и враги по своему невежеству?» [Белинский, 1956, XII, с. 70].

Это признание свидетельствует о том, что сострадание и альтруизм еще дороги Белинскому, и в этой стадии развития личности он отверг бы принципиальный эгоизм Штирнера. Он еще верит в идею социальности («Социальность, социальность – или смерть!») и проповедует отрицание в якобинском духе – что и отличает его подход от штирнеровского: «Я ожесточен против всех субстанциональных начал, связывающих в качестве верования волю человека! Отрицание – мой бог. В истории мои герои разрушители старого – Лютер, Вольтер, энциклопедисты, террористы; Байрон (*Каин*) и т.п.» [Белинский, 1956, XII, с. 70].

«Ожесточение» Белинского наконец завершается выше цитированной фразой *fiat justitia – pereat mundus*, таким образом он возвращается к исходному пункту, круг замыкается, ведь – «зло злым спасается» (перефразируя слова Достоевского из *Дневника писателя* «Ложь ложью спасается»). Если критик во имя

---

гуманности не принимает тезис о необходимых жертвах исторического развития, то на таком же основании он должен был бы отвергнуть и принцип террора, разрушения, отрицания, потому что при использовании таких средств историческая цель достигается также ценой невинной крови, страдания, через несправедливость и непредвиденные трагедии, как и в первом случае. Молодого Белинского пока захватывает мысль о том, что террорист, герой-разрушитель лучше знает, чем философ, как надо вести толпу к счастью, поэтому он отрицает любой субстанциональный принцип, который в форме какого-либо верования связывает волю и совесть человека. И здесь обнаруживается общий со Штирнером мотив: это протест против всякого лицемерия и самообмана (когда человек от зияющей пропасти исторических антиномий скрывается за идеями), против «примирения» с действительностью.

Цитированное выше письмо интересно не только высказанными в нем противоречивыми мыслями, не только они связывают его с миром Достоевского. Белинский касается в этот раз глобального вопроса, а именно: губительного влияния безличности и дедукции. Если своевольно абстрагируются определенные мысли, тезисы какой-то философии, извлекаются и применяются к практическим, актуальным программам, обязательно происходит их деформация: то, к чему, напр., Гегель пришел путем индукции, то в обобщении и переосмыслении Белинского и Бакунина является лишь дедукцией, формулой, которой можно оперировать, как угодно, но которая уже лишена непосредственного, личного начала и внутренней правды. (*Mutatis mutandis*, это мы в XX веке видели и в судьбе философии Карла Маркса и в ее историческом «применении».)

Тонкий и глубокий ум Белинского, в конце концов, не мог удовлетвориться такой стерилизованной идеей, тогда как его антипод, Бакунин, мог жить в этом вторичном, абстрактном мире: его существо расцветало именно в сфере умозрительной, спекулятивной деятельности разума, а потом из него вышел настоящий анархист [Корнилов, 1915].

Некоторая односторонность концепции Шестова обусловлена тем, что он сосредоточивается на вышеупомянутом «переломе», на «перерождении убеждений» и сам настраивается против Гегеля (что вытекает отчасти из собственного духовного развития). Имя

немецкого философа для него служит лишь для обозначения определенной типологической группы: в оценочной системе Шестова оно сигнализирует т.н. объективную линию (т.е. неперсональную, не-трагичную), к которой он причисляет, напр., Аристотеля, Пелагия, Льва Толстого, в противовес субъективной, трагической, к которой принадлежат Св. Августин, Лютер, Киркегор, Достоевский. Он справедливо причисляет Белинского и Достоевского к одной и той же типологической группе, но при этом не входит в подробности, не останавливается на различии в мышлении критика и писателя. Разочарование Достоевского в утопических идеях совершается во время каторги и ссылки, но лишь в начале 1860-х гг. оно сознается полностью и получает выражение. В кризисе Достоевского важную роль играет также встреча с духом обезличивания и дедукции: в «Зимних заметках...» и «Записках из подполья» он критикует западную цивилизацию, идеи капитализма и утопического социализма, потому что они тоже насильно, по своему рецепту, хотят «спасать» человечество, при помощи предварительно изготовленных схем – ради земных, конечных интересов. Свободную личность эта цивилизация (теперь уже глобализация) старается заключить в фаланстер, в «муравейник», в мир  $2 \times 2 = 4$ , игнорируя ее внутреннюю бесконечность, неповторимость – и связь с «иными мирами».

При сопоставлении отношения Достоевского и Белинского к проблеме безличности представляется очень интересными наблюдения над одним и тем же мотивом у обоих: это  $2 \times 2 = 4$ . Белинский в письме к Боткину (1843) говорит о том, что разговоры с Тургеневым оказали на него отрезвляющее влияние: «Тургенев поразил меня нечаянно, сказавши к слову, что Гегель где-то выразился, что дельный человек тот, кто коли видит, что  $2 \times 2 = 4$ , так и ставит 4, а пустой (прекрасная душа) тот, кто хоть и видит, что  $2 \times 2 = 4$ , а все норовит, как (бы) поставить 5 или 10. До сих пор вся жизнь моя протекла в том, что я видел и понимал, что  $2 \times 2 = 4$ , а ставил 5. Теперь я не могу быть так глупо малодушным, но от этого мне не легче – в этом мой смертный приговор: ждать уже нечего, и в душе распространяется холод, сырость и смрад могилы. Я держался глупостью – подпора упала – и я падаю с нею» [Белинский, 1956, XII, с. 150-151].

Белинский – с характерной для него откровенностью – признается в том, что до сих пор он сам был «прекрасной душой», мечтателем, но слова Тургенева его будто отрезвили. В его самобичевании, отмежевании от «идеальности» опять скрывается противоречие: фраза Тургенева, заимствованная из Гегеля, звучит для Белинского так авторитетно, как раньше звучали другие гегелевские фразы, истолкованные в «романтическом» ключе Станкевичем и Бакуниным. Искания и духовное развитие критика совершаются через страстные столкновения то с самим собой, то с окружающими лицами, и оттого в его текстах (письмах и критических произведениях) так сильно чувствуется исповедальный, персональный тон.

Продолжая сопоставление тональности эпистолярного наследия критика с художественным миром Достоевского, мы можем усмотреть в духовной борьбе Белинского и внутренних терзаниях подпольного человека общий мотив: это ретроспективный взгляд на юношеские – уже «несостоятельные», «прекраснодушные» – идеалы и разлад между внешним (общественным) и внутренним человеком.

В повести Достоевского формула  $2 \times 2 = 4$  появляется с отрицательным знаком: подпольный человек считает ее одновременно досадной и страшной из-за беспощадной ее завершенности, точности: «По крайней мере, человек всегда как-то боялся этого дважды два четыре, а я и теперь боюсь. Положим, человек только и делает, что отыскивает эти дважды два четыре, океаны переплывает, жизнь жертвует в этом отыскивании, но отыскать, действительно найти, – ей-богу, как-то боится. Ведь он чувствует, что как найдет, так уж нечего будет тогда отыскать. [...] Но дважды два четыре – все-таки вещь пренесносная. Дважды два четыре – ведь это, по моему мнению, только нахальство-с. Дважды два четыре смотрит фертом, стоит поперек вашей дороги руки в боки и плюется. Я согласен, что дважды два четыре – превосходная вещь, но если уже все хвалить, то и дважды два пять – премилая иногда вещица» [Достоевский, 1973, V, с. 119].

Подпольный человек разоблачает пустоту и конечность, стоящие за этой формулой, и выражает симпатию к фантастичным, парадоксальным, для разума не приемлемым аспектам жизни. Сравнивая поведение обоих, мы можем заметить, что Белинский, в

противовес своим наклонностям, принимает взгляд Тургенева и опять попадает под обаяние какой-то безличной правды; ему кажется, что во имя здравого смысла он **должен** осудить и подавить все свои особенности, иногда фантастичные, «высокие» мечты и другие требования личности. Как раньше он бичевал и защищал себя в полемике с Бакуниным потому, что из-за бытовых нужд был не в состоянии подняться в мир чистых идей, Абсолюта (юноши в кружке Станкевича ожидали от себя и от других не меньшего), так и теперь он опять обвиняет **себя**, под бременем услышанной от Тургенева и действующей на него как откровение правды. Каприз подпольного человека и бунт его против окончательной, безапелляционной правды явно восходят к Белинскому: Достоевский бессознательно воспроизводит сущность духовных исканий Белинского, умершего уже 16 лет тому назад.

Постановка вопросов и структура повести «Записки из подполья» внушают мысль о том, что Достоевский рассчитывается со своими юношескими идеалами, со своим мечтательным периодом. 15-16 лет разницы во временных плоскостях первой и второй части произведения говорит о том, что герой Достоевского в 1840-х гг. был романтическим мечтателем<sup>1</sup> и без иронии верил в  $2 \times 2 = 5$  тогда, когда Белинский, уже разочаровавшись и в  $2 \times 2 = 4$  (значит в «отрезвлении», «дельности»), смотрел в глаза смерти, без нового идеала. Подпольный же человек – в настоящем времени

---

<sup>1</sup> Ю. Манн в анализе «Белых ночей» (1986) раскрывает оттенки и противоречия психики мечтателя, отмечая тонкие связи этого типа с литературой романтизма. Нашу концепцию **о созвучиях голоса** Белинского и персонажа Достоевского подтверждают и замечания Ю. Манна о том, как глубоко понял критик сущность романтического мечтательства. Цитируя высказывания Белинского о поэзии Жуковского, Пушкина, он обобщает его взгляды так: «Романтическое воодушевление, подчас со всеми его крайностями, по Белинскому, – необходимый этап развития каждого человека (как и человечества в целом). Низок и мелок тот, кому не довелось пережить этого этапа. Но горе и тому, кто остался в его границах навсегда. В пору создания «Белых ночей», примерно такого же взгляда на романтизм придерживался и Достоевский. Взгляд достаточно определенного, но не простого, вовсе не сводимого к однозначному ответу: да или нет? Хорошо или плохо?» [Манн, 2008, с. 337-353].

---

повествования, в начале 1860-х гг., – уже знает цену реальной и фантастической «правды», не обращается доверчиво к  $2 \times 2 = 4$ , как Белинский, но и  $2 \times 2 = 5$  (т.е. романтический бунт против обыденности) упоминает им только с иронией. Мы полагаем, что это двойное отмежевание: ни обычный, ни фантастический мир не устраивает его, чего-то третьего не хватает («Вру, потому что сам знаю, как дважды два, что вовсе не подполье лучше, а что-то другое, совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду» [Достоевский, 1973, V, с. 121]) – это тотальное сомнение и мимоходом высказанная **жажда веры** обуславливают внутренний динамизм антропологии Достоевского. Те трагические – потому что окончательные – акты отрицания, которые Белинский переживал так часто (ощущение того «нигиля», о котором говорит и Штирнер), в творчестве Достоевского воплощаются лишь в отдельных «голосах», с которыми противоборствуют другие равноправные голоса. Подобно мчащимся душам в «Божественной комедии» Данте (*Чистилище*, песня 18 «Тайны любви»), душа Белинского, обобщенная часто прекрасными образами-идеями, не могла остановиться ни на какой временной, преходящей мечте, но и не могла кристаллизовать приобретенную истину. Неслучайно он сравнивает себя с Дон Кихотом, сочетающим в себе пафос и комизм. Так, в письме к Николаю Бакунину (брату Михаила) Белинский признается: «Опыт сорвал покров с жизни – и я увидел румяна на очаровательных щеках этого призрака, увидел, что об руку с ним идет смерть и тление – противоречие. Она хороша для тех, для кого хороша, и только на то время, когда хороша. Для меня она никогда не была добра, и я бескорыстно курил ей фимиам, как Дон Кихот своей Дульцинее» [Белинский, 1956, XII, с. 160].

Сравнение самого себя с Дон Кихотом несколько раз появляется в письмах Белинского, а его друзья – Некрасов и Тургенев – используют сопоставление Дон Кихота с Достоевским в однозначно сатирическом контексте. Это произошло уже после отчуждения Белинского и Достоевского друг от друга (1846), когда критик откровенно признался, что он ошибся, переоценив талант Достоевского. В колкой эпиграмме Тургенева и Некрасова («Послание Белинского к Достоевскому») отсутствует пафос замечательного героя Сервантеса и слишком преобладает причудливость «витязя горестной фигуры», что могло быть

особенно обидным для молодого писателя, потерявшего благосклонность Белинского.

К образу Дон Кихота питали привязанность и Белинский, и Достоевский, для обоих он – символ амбивалентных ценностей в процессе самопознания. Тургенев и Некрасов очень метко, хотя и с негативной интонацией, связывают отношение писателя и критика к Дон Кихоту; они отлично знали литературный вкус и человеческое окружение Белинского. Письма и повесть в утверждении  $2 \times 2 = 5$  обнаруживают т.н. «донкихотское» состояние души и Белинского, и подпольного человека, хотя акцентируется разное: восторженность, неистовство, доверчивость, размах мыслей и служение благородным целям у Белинского напоминают сервантесовский, ренессансный архетип, в образе же подпольного человека восторженность и неистовство сливаются с гамлетовскими сомнениями и эгоцентризмом, с ядом слишком развитого сознания. Эссе Тургенева «Гамлет и Дон Кихот» (1860) является связующим звеном между идеями 40-х и 60-х годов, в равной степени служит ключом к интерпретации приватного, жизненного кризиса Белинского и литературного образа в произведении Достоевского, демонстрируя, как «действует» жизнь в литературе и литература в жизни.

При чтении писем и статей Белинского бросается в глаза субъективный характер его стиля. Письма к Боткину, Станкевичу и Бакунину часто переходят в исповедь, в страстные самоосуждения и самооправдания. Он вел с ними роковые диалоги, споры – и не только письменно. Этим объясняется перевес живой разговорной речи в его письмах и статьях. Он так живо представляет адресата с его настоящими и воображаемыми аргументами, как будто пишет не письмо, а литературное произведение, в котором «собеседник» (другой голос) выдуман им. Из выше названных друзей особенно Бакунин вызывал у Белинского крайние, противоречивые чувства. В начале знакомства они писали друг другу восторженные, «философические» письма, темами которых были Идеал, Действительность, Любовь, Абсолютный дух и т.д. И когда выяснилось, что Белинский философствует, чтобы жить, а Бакунин наоборот, живет, чтобы философствовать, по формулировке критика, их письменные диалоги превратились в борьбу. В письме от 10 сент. 1838 г. Белинский пишет Мишелю: «Я сам, обращаясь

---

назад, вижу в своей жизни одни страдания, апатию, падение; восстание, грех, покаяние и все это вследствие отвлеченности, пошлого шиллеризма, натянутости, претензий на гениальность, боязни быть простым малым. Но я хватился за ум и теперь за поцелуй, за улыбку охотно плюну на философию, на науку, журнал, мысль и на все. Ощущения волнования жизни – это главное; а там можно и пофилософствовать – этак, как выкинется – иногда прозой и иногда и стихами. Ты как-то не мыслью поверяешь жизнь, а жизнью меришь мысль и жизнь вечно подводишь под мысль» [Белинский, 1956, XI, с. 188].

С усилением этой противоположной настроенности растет и напряжение. В самый бурный период их переписки в голосе Белинского звучат самоосуждение и самоутверждение будущего подпольного человека, для которого было принципиально и жизненно важно – опередить воображаемого собеседника, сказав последнее слово **о себе**: голос подпольного человека ассоциирует те модуляции голоса Белинского, которые слышатся в исповедальном тоне его писем. В этом случае можно лишь условно использовать термин «архетип». В литературном произведении играют роль не только доказуемые непосредственные впечатления, ведь писатель в первую очередь опирается на свой внутренний опыт и вдохновение, а нужный материал берет, где находит – из окружения, из самого духа времени<sup>1</sup>. Поэтому мы считаем убедительным мнение Долинина, что Белинский – двойник Достоевского: «Но Белинский: он ведь тоже “бог знает от кого происходит, отец его был так же военным лекарем”, как и отец Достоевского. И не в силу ли одинаковости происхождения у него

---

<sup>1</sup> Немецкий исследователь Достоевского Хорст-Юрген Геригк рассматривает творчество Достоевского с точки зрения форм и функций диалога. Он полемизирует с механическими способами нарратологии, которые ограничиваются лишь каталогизацией литературных приемов. Автор статьи рассматривает психологические (innerfiktionale) и поэтологические (außenfiktionale) обоснования фактов, прослеживает путь художественной интеллигенции, освещая все грани данного произведения. В этом контексте пишет о «Записках из подполья» как о сложной игре Достоевского с читателем (Dostijewskijs Spiel mit dem Leser: Verstecken und Offenlegen) и о суверенности писателя в использовании внешнего и внутреннего материала [Gerigk, 2008].

с Белинским и сходная душевная организация, та же способность до конца воспламеняться идеей, отдаваться ей восторженно и всецело до тех пор, пока она им владеет, а потом так же страстно с проклятиями на нее обрушиться, когда убеждения изменились, и прежний кумир оказался ложным. Двойник, его преследующий всю жизнь, вросший в его сердце неотрывными краями – таков Белинский для Достоевского» [Долинин, 1930, X].

Можно дополнить Долинина, указав на биографическое сходство: сходство в духовном облике выражается в юношеской претензии на гениальность, в страстном влечении к литературе, склонности к мечтанию, в чувстве неудовлетворенности личной жизни – сходство, скоро переходящее в диаметрально противоположность. Белинский уже давно раскаялся в претензии на гениальность, в романтических мечтаниях, «донкихотстве», когда Достоевский, десятью годами его моложе, подошел к этой стадии. Усталый и больной критик столкнулся со своим прежним «Я» в молодом писателе – и отвернулся. Судьба не дала Достоевскому возможности оправдать первое впечатление критика, он не мог доказать ему свою гениальность, и поэтому боролся с его памятью до конца жизни.

Письма Белинского демонстрируют, что в начале 1840-х гг. в русской действительности возникли психические предпосылки для появления типа подпольного человека. Неслучайно действие второй части «Записок...» происходит в 40-е гг.: кризис Белинского в это время достигает кульминации (см. вышеупомянутые искания нового идеала, появление Штирнера в его кругозоре), а Достоевский еще экспериментирует с шиллеровским «прекрасным и высоким». Но спустя почти два десятилетия в образе подпольного человека расслаиваются общие мотивы психогаммы писателя и критика: амбиция, чувство неполноценности, тщеславие, восторженность, апатия, мечтательство и страстная жажда истинных ценностей. Переписка Белинского сохранила более разнообразные оттенки личности, чем литературная фикция, что объясняется различием жанров, хотя в эпистолярии Белинского много «литературности» (напр., сознательная риторизированность

---

текста)<sup>1</sup>. Повесть Достоевского можно считать своеобразной извращенной исповедью: герой к концу исповеди старается не оправдать, а еще больше проклясть самого себя, и этим как будто подчеркнуть напряжение между выразимым и невыразимым: «...вовсе не подполье лучше, а что-то другое, которого я жажду, и которого никак не найду!». И как Белинский не щадил себя в письмах, так и Достоевский еще решительнее перевел тон повести в направление отрицательное. Подполье у Достоевского символизирует какое-то современное «сошествие во ад», негативный путь познания самого себя; человек на этом пути заблудился; неверие, сомнение и страх мешают ему найти «то другое», которого он жаждет<sup>2</sup>.

Среди писем Белинского есть еще много таких, в которых вырисовывается смутный прообраз будущего подпольного человека. В письме от 1 ноября 1837 г. он рассказывает Бакунину о литературных планах: хочет написать «Переписку двух друзей», сочинение, в котором изображает два этапа развития души. Так он набрасывает сюжет: «Короче сказать, в этой прекрасной душе я изображу себя и, надеюсь, очень верно; и в этом портрете *я наплюю на самого себя и оплачу самого себя.* (Курсив мой. – А.Д.) Я изображу себя в двух эпохах жизни: в той, в которую я жил в одном чувстве и прятал свое чувство от разума, как цветок от мороза; и в той, в которую я сознал тождество чувства с разумом,

---

<sup>1</sup> Именно это свойство гарантирует переписке оригинальность и яркость.

<sup>2</sup> Мы ссылаемся на трактаты Кьеркегора – современника и Белинского, и Достоевского – «Страх и трепет» (1843) и «Понятие страха» (1844), в которых также остро ставится вопрос веры: «Рыцарь веры предоставлен лишь себе самому – вот в чем весь ужас. Большинство людей относятся к этическим обязательствам так, что предоставляют каждому дню свою заботу, но зато они никогда и не доходят до той страстной сосредоточенности, той энергичной уверенности, как рыцарь веры. Трагическому герою может в известном смысле помочь дойти до этого общее, рыцарь же веры предоставлен себе самому» [Кьеркегор, электронный ресурс: <http://www.vehi.net/kierkegor/kierkegor.html>]. В душе Белинского происходит борьба за такую именно веру, и в образе подпольного человека тоже можем усмотреть торс и деформацию рыцаря веры, который попал в плен проклятого круга (circulus vitiosus). Более подробно о Достоевском и Кьеркегоре см.: [Фришман, 1991, с. 60].

любви с сознанием, но приобрел через это не полное блаженство жизни, а только объективное сознание ее» [Белинский, 1956, XI, с. 188].

Фраза «я наплюю на самого себя и оплачу самого себя» точно выражает то, что создал Достоевский в образе подпольного человека. Этот мотив подчеркивает еще раз вышеупомянутую общность в духовном облике критика и писателя, связанную с понятием двойничества. О неоднозначном отношении Достоевского к критику свидетельствует его письмо к вдове Белинского (от 5 января 1863 года), в котором он тепло вспоминает о прежней дружбе: «Простите меня великодушно, что я слишком долго не отвечал на ваше прекрасное и доброе письмо. Но сначала был занят, а потом болен, потому и опоздал. Письмо ваше произвело на меня чрезвычайно приятное впечатление. *Я до того любил и уважал вашего незабвенного мужа и вместе с тем мне так приятно было припомнить все то лучшее время моей жизни* (курсив мой. – А.Д.), что я от души мысленно поблагодарил вас за то, что вам вздумалось написать ко мне» [Достоевский, Письма II, с. 313-314]. Мы убеждены, что не просто вежливость заставляет Достоевского написать такое письмо: тот факт, что все-таки Белинский «посвятил его в рыцари» в области литературы, воодушевив после первых его шагов, несмотря на совершившееся позже расхождение и отчуждение, сохранил для Достоевского важность и ценность до конца жизни. На основе анализа переписки и произведений мы делаем вывод, что с этого письма к Белинской начинается борьба Достоевского с памятью критика. «Записки из подполья» – первое такое произведение, в котором слышится **голос** Белинского. Отношение Достоевского к памяти и духовному наследству Белинского в дальнейшем становится все более и более отрицательным, что выражается уже совсем откровенно в его переписке, а в романах и в «Дневнике писателя» – с разнообразными оттенками.

Важно подчеркнуть и то, что Достоевский трансформирует не личность, а **голос** критика в образ подпольного человека: Белинский не является здесь прототипом в общепринятом смысле этого слова, а **его голос становится «двойником» авторского слова**, и вместе они приобретают «трагичное» или «гротескное» в ходе повествования.

М. Бахтин называет повесть такой *Icherzählung*, которая в форме дурной бесконечности приводит безысходные диалогические противостояния и преобразует однозначную монологическую исповедь в диалог, который ведет «Я» с самим собой или с отражающимися в собственном сознании чужими голосами. Условие этого преобразования – в той сугубо личной позиции, с которой Достоевский обращается к миру; по терминологии Бахтина, – в отсутствии перспективы: «Момент обращения присущ всякому слову у Достоевского, слову рассказа в такой же степени, как и слову героя. В мире Достоевского вообще нет ничего вечногo, нет предмета, объекта, – есть только субъекты» [Бахтин, 1977, с. 276].

Подобная позиция была характерна и для Белинского: мы говорили уже о субъективном тоне его писем и некоторых статей, о его неприязни к абстракциям и обобщениям, о безоговорочном уважении к личности. В его стиле преобладают элементы разговорной речи; эмоции и настроения часто выражаются в ругательствах, живых и выразительных, и в единственно ему присущих оборотах речи. Его стиль роднит со стилем Достоевского свойство представить адресата в осязаемой форме. Разница в том, что Белинский в письмах, всегда обращающемся к *реальному второму лицу*, – диалог настоящего «Я» с «Ты», а в мире литературной фикции эта персональность и диалогичность становятся основой поэтики, структура абстрагируется и диалог может продолжаться и внутри одного сознания – как мы видим в случае подпольного человека.

Есть такие полосы в жизни, когда лишь сильные психические энергии, напряженность и восторженность, острое переживание кризиса помогают личности оставаться на уровне диалога, противостоять таким внутренним врагам, как апатия, инерция, и внешним, таким, как обезличивание, превращение в вещь или массового человека. Растворение в мире Всеобщего одновременно является угрозой и искушением для индивидуума, оно возбуждает в душе тот «трепет и страх», о котором пишет Кьеркегор, и который по собственному опыту знают и Белинский, и Достоевский. Это амбивалентное чувство прозвучало и в лирике Тютчева: в стихотворении «*Смотри, как на речном просторе...*» (1851). «Всеобщее» философии предстает в образе природной

стихии, когда «во всеобъемлющее море / За льдиной льдина вслед плывет» – и внушает параллель с человеческой судьбой:

О, нашей мысли обольщенье,  
Ты, человеческое Я,  
Не таково ль твое значенье.  
Не такова ль судьба твоя?  
(Тютчев, 1965, I, с. 130)

В настоящей работе мы постарались указать на те мотивы в переписке Белинского и в «Записках из подполья» Достоевского, которые обнаруживают сходство их «душевной организации» и объясняют проблематичность отношения писателя к критику – но и к своему подпольному антигерою. На фоне их дружбы и расхождения стали ощутимы различные философические веяния эпохи (романтический идеализм, философия эгоизма, нигилизма, идея социальности и т.д.) и психологические комплексы («двойничество»). В специальной литературе в связи с Достоевским уже давно упоминаются имена Штирнера, Ницше, Кьеркегора, понятия, как диалогичность, персональная философия; Белинский же остался для литературного сознания прежде всего Критиком (=отождествлялся с призванием), предметом литературоведения, хотя в его эпистолярии появляются те современные проблемы, которые волновали и всю мыслящую Европу. Именно в 40-е годы XIX века, когда молодой Кьеркегор борется с гегелевской системой философствования и ищет истину, «которая рождается в диалоге, но ее невозможно изложить другому в готовой форме»<sup>1</sup>, – Белинскому также это «невыразимое» доставляет трудности. Но если мы читаем его письма и статьи как единый корпус, **единый текст** (учитывая, конечно жанровые различия), так становится ясным его современность, оригинальность – и актуальность. Для нас, прежде всего, представляют интерес те литературные формы и приемы, через которые проблемы живой жизни (цитируя слова Достоевского) обрели словесный покров. В переписке Белинского драма

---

<sup>1</sup> Сарафанова, А. О силе «мертвой буквы» (Комментарий к «Дневнику обольстителя») / А. Сарафанова // Кьеркегор С. Дневник обольстителя: Роман / пер. с дат. П. Ганзена. – СПб.: Азбука-классика, 2006. – С. 225-237.

собственной жизни рождает диалогичность, а в творчестве Достоевского проникновение в драму человеческой жизни вообще ведет к этому же способу мышления<sup>1</sup>.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

**Анненков, П.В.** Литературные воспоминания. Замечательное десятилетие / П. В. Анненков. – СПб.: Типография Стасюлевича, 1909. – 590 с.

**Бахтин, М.М.** Проблемы поэтики Достоевского / М.М. Бахтин. – Советская Россия, 1979. – 320 с.

**Белинский, В.Г.** Полн. собр. соч.: в 13 т. / В.Г. Белинский. – М.: АН СССР, 1956-1959. – Т. XI. – 1956. – 718 с. Т. XII. – 596 с. Т. XIII. – 826 с.

**Долинин, А.С.** Предисловие / А.С. Долинин // Достоевский Ф.М. Письма / Под редакцией А.С. Долинина. – Т. I-IV. – М.;Л.: ГИЗ-Гослитиздат, 1928-1959.

**Долинин, А.С.** Последние романы Достоевского / А.С. Долинин. – М.: Л.: Советский писатель, 1963. – 344 с.

**Достоевский, Ф.М.** Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 5 / Ф.М. Достоевский. – Л.: Наука, 1973. – 407 с.

**Дуккон, А.** Жизнь и литературная фикция в «Записках из подполья» Ф.М. Достоевского (Достоевский и Белинский) / Агнеш Дуккон // *Dissertationes Slavicae XVIII*. – Szeged, 1986. – P. 185-207.

**Дуккон, А.** Проблема двойника у Гоголя и Достоевского / Агнеш Дуккон // *Studia Slavica Hungarica*. – 1987. – 33/1-4. – P. 207-221.

**Дуккон, А.** На перекрестке жанров: атрибуты исповеди и дневника в эпистолярной Белинского / Агнеш Дуккон // *Memarystyka rosyjska i jej konteksty kulturowe. Studia Rosica XX*. Tom I. / Red. naukowa Alicja Wołodźko-Butkiewicz, Ludmiła Łucewicz. – Warszawa, 2010. – P. 145-153.

---

<sup>1</sup> «Это истина, которая рождается в диалоге, но ее невозможно изложить другому в готовой форме». Такая манера повествования близка и Достоевскому, что, естественно, было замечено Бахтиным, а затем и другими исследователями, и породило первые «русские версии» Кьеркегора» [Сарафанова, 2006, с. 225-237].

Из архива А.М. Горького // Русская литература. – 1968. – № 2.

**Кибальник, С.А.** Достоевский и Макс Штирнер (О философских истоках антииндивидуализма и антирационализма писателя) / С.А. Кибальник // Достоевский и современность. Материалы XXVI Международных Старорусских чтений 2011 года / ред. Н.Н. Подосоковский; Новгородский музей-заповедник. – Великий Новгород, 2012. – С. 172-180.

**Корнилов, А.А.** Молодые годы Бакунина. Из философии русского романтизма / А.А. Корнилов. – М.: Сабашниковых, 1915. – 718 с.

**Манн, Ю.В.** Семь знаковых слов (О Белых ночах» Ф.М. Достоевского) / Ю.В. Манн // Манн Ю.В. Тургенев и другие. – М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2008. – С. 337-353.

**Отверженный, Н.** Штирнер и Достоевский / Н. Отверженный (И.Г. Булычев). – М.: Голос труда. Военная типография, 1925. – 79 с.

**Сарафанова, А.** О силе «мертвой буквы» (Комментарий к «Дневнику обольстителя») / А. Сарафанова // Кьеркегор С. Дневник обольстителя: Роман / пер. с дат. П. Ганзена. – СПб.: Азбука-классика, 2006. – С. 225-237.

**Тютчев, Ф.И.** Лирика / изд. подготовил К.В. Пигарев / Ф.И. Тютчев. – М.: Наука, 1965. Т. I. – 448 с. (сер. «Литературные памятники»).

**Шестов, Л.** О «перерождении убеждений» у Достоевского / Л. Шестов // Шестов Л. Умозрение и откровение. – Париж: YMCA-PRESS, 1964. – Р. 171-196.

**Тусичишный, А.П.** О конфликте в повести «Двойник» в контексте философии Макса Штирнера / А.П. Тусичишный // Болгарская русистика. – 2009. – № 3-4. – С. 111-122.

**Фришман, А.** Достоевский и Кьеркегор: диалог и молчание / А. Фришман // Из истории русской эстетической мысли. – СПб., 1993. – С. 55-71.

**Brobjer, Thomas H.** A Possible Solution to the Stirner-Nietzsche Question / Thomas H. Brobjer // Journal of Nietzsche Studies. – 2003. – № 25. – Р. 109-114.

**Dukkon, A.** К вопросу о некоторых проблемах оценки расхождений между Достоевским и Белинским / Агнеш Дуккон //

Acta Universitatis Szegediensis. Dissertationes Slavicae. – 1982. – № 15. – С. 67-84.

**Dukkon, A.** Жизнь и литературная фикция в «Записках из подполья» Ф.М. Достоевского (Достоевский и Белинский) / Агнеш Дуккон // *Dissertationes Slavicae XVIII*. – Szeged, 1986. – P. 185-207.

**Dukkon, A.** Проблема двойника у Гоголя и Достоевского / Агнеш Дуккон // *Studia Slavica Hung.* – 1987. – 33/1-4. – С. 207-221.

**Dukkon, Ágnes.** Arcok és álarcok. Dosztojevskij és Belinszkij [Дуккон, Агнеш. Лица и маски. Достоевский и Белинский] / Ágnes Dukkon. – Budapest, 1992.

**Dukkon, Ágnes.** Belinskij und Dostojevskij / Ágnes Dukkon // *Studia Slavica Hung.* – 1993. – 38/1-2. – С. 3-7.

**Dukkon, A.** Дважды два четыре или пять? Проблемы «романтизма» и «реализма» в понимании молодого Тургенева и Белинского / Агнеш Дуккон // И.С. Тургенев. Жизнь, творчество, традиции. – Budapest, 1994. – С. 60-68.

**Dukkon, A.** На перекрестке жанров: атрибуты исповеди и дневника в эпистолярной Белинского / Агнеш Дуккон // *Memuاریstyka rosyjska i jej konteksty kulturowe*. Studia Rosica XX. T. I. / Red. naukowa Alicja Wołodźko-Butkiewicz, Ludmiła Łucewicz. – Warszawa, 2010. – P. 145-153.

**Fülep, Lajos.** Stirner (1906) / Lajos Fülep // Fülep L. [Л. Фюлеп]. A művészet forradalmától a nagy forradalomig [От революции искусства до великой революции]. – Budapest, 1974.

**Gerigk, H.-J., Neuhäuser, R.** Dostojewskij im Kreuzverhör. Ein Klassiker der Weltliteratur oder Ideologe des neuen Russland? Zwei Abhandlungen / Horst-Jürgen Gerigk, Rudolf Neuhäuser. – Heidelberg: Mattes Verlag, 2008. – 119 s.

**Carrol, John.** Break-Out from the Crystal Palace / John Carrol. – London, 1974. – 188 s.

**Podach, Erich F.** Friedrich Nietzsches Werke des Zusammenbruchs. Wolfgang Rothe Verlag / Erich F. Podach. – Heidelberg: Wolfgang Rothe Verlag, 1961. – 432 s.

**Przebinda, G.** Od Czaadajewa do Bierdjajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832-1922) / Gregorz Przebinda // Nakładem Polskiej Akademii Umijętności– Kraków, 1998. – P. 13-48.

**Stirner, M.** Der Einzige und seine Eigentum / Max Stirner. – Leipzig, 1845.

В.В.Савельева<sup>1</sup>

*Казахский национальный педагогический университет  
имени Абая*

## **ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИПНОЛОГИИ: ОНЕЙРОПОЭТИКА ЖЕНСКИХ СНОВ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ**

Статья посвящена анализу семантики и жанрового своеобразия женских снов на материале произведений русской классической литературы.

**Ключевые слова:** онейропоэтика, художественная гипнология, онейрический текст, гендерный аспект, сновидение, новелла, мистерия, видение

V.V. Savelieva

*Kazakh National Pedagogical University after Abai*

## **GENDER ASPECTS OF FICTIONAL HYPNOLOGY: ONEYROPOETICS WOMEN'S DREAMS IN RUSSIAN LITERATURE**

In this article on the material of Russian classical literature made an analyses of the semantics and genre specificity women's dreams.

**Key words:** oneyropoetics, fictional hypnology, oneyrotext, gender, dream, story, mystery, vision

**1. Сновидение как онейрический текст и дискурс.** Изучение художественной гипнологии представляет собой одну из проблем изучения персонажной сферы в рамках художественной антропологии писателя. Ю.М. Лотман в одной из своих последних работ называет сон «семиотическим окном» и пишет: «Сон – это

---

<sup>1</sup> Савельева Вера Владимировна, доктор филологических наук, профессор кафедры филологических специальностей Института магистратуры и докторантуры PhD Казахского национального педагогического университета имени Абая (г. Алматы).

---

семиотическое зеркало, и каждый видит в нем отражение своего языка» [Лотман, 2004, с.124]. Изучение сна, сновидений и бессонницы представляет собой междисциплинарную проблему, лежащую на стыке физиологии, медицины, философии, психологии, филологии, культурологии, семиотики. «Сон – это особое генетически детерминированное состояние организма человека и других теплокровных животных (т.е. млекопитающих и птиц), характеризующееся закономерной последовательной сменой определенных полиграфических картин в виде циклов, фаз и стадий» [Ковальзон, 2006, с. 311]. Сон сопровождается сновидениями. «Сновидение отличается полилингвальностью: оно погружает нас не в зрительные, словесные, музыкальные и прочие пространства, а в их слитность, аналогичную реальной» [Лотман, 2004, с. 124-125]. В книге Д.А. Нечаенко «Сон, заветных исполненный знаков» речь идет о том, что сновидения литературных персонажей глубоко индивидуализированы, и в этом их главнейшее характерологическое значение. Автор считает необходимым дополнить список литературоведческих терминов термином «сновидная характеристика персонажа», «без учета которой любой анализ психологических закономерностей сюжетного поведения героя остается во многом незавершенным» [Нечаенко, 1991, с. 27].

Современная сомнология разграничивает сны детские, мужские, женские, сны людей здоровых и больных. Естественно возникает желание понять, насколько важна для писателя антропологическая составляющая картины сновидения. Традиции описания женского сна восходят к мифологии и фольклору. В античной мифе и литературе такие сновидения широко известны (сон Гекубы в троянском цикле мифов, сон Пенелопы в «Одиссее», Дидоны в «Энеиде», сон в романе Апулея «Золотой осел»). Вводятся женские сны в сказки и лиро-эпические поэмы. Напр., сон Кыз-Жибек в казахской народной лиро-эпической поэме – это сон-предупреждение, который содержит четыре картины, функционально «их можно назвать тавтологичными, так как через них адресант хочет передать четырьмя разными способами одно важное сообщение-предупреждение» [Серикова, 2011, с. 205].

В рамках этой статьи обратимся к некоторым знаковым для русской классики текстам, в которые введены женские сновидения.

Обратим внимание на четыре момента: 1) жанровая типология онейрических текстов; 2) место снов в композиции и сюжете произведений; 3) соотношенность снов с романной реальностью; 4) символика образов и событийных мотивов сновидений; 5) значение сновидений для понимания внутреннего мира персонажей.

Онейрический текст в художественной литературе – это вербально оформленное сновидение персонажа. Сновидение, будучи интимной реальностью индивидуального сознания и психики, всегда представляет собой высказывание: персонажа, который рассказывает другим героям и читателям своё сновидение, или автора, который переоформляет сновидение героя в нарратив. Онейрический текст – это обязательно дискурс. В филологии утверждается, что понятие дискурс шире, чем понятие текст: дискурс понимается и как процесс языковой деятельности, и как ее результат, т.е. текст. «Текст – статическая вербальная единица; дискурс – динамическая вербально-невербальная единица коммуникации» [Потапова, Потапов, 2006, с. 229]. Изучение дискурса онейрического текста предполагает оживление его динамики, связанной с процессами порождения текста адресантом, и всех обстоятельств его восприятия адресатом: его эмоции (страх, удивление, вопрос и др.) и когнитивные усилия (что означает этот сон, почему мне он приснился). М.М. Бахтину принадлежит суждение, что каждое высказывание в той или иной мере следует традиции жанрового оформления. В нашем случае важна установленная связь между онейрическим текстом, его дискурсом и жанром.

**2. Девичьи сны-новеллы в произведениях В. Жуковского, А. Грибоедова, А. Пушкина.** В поэтике литературы эпохи романтизма сновидения играли важную роль. Ю.Н. Чумаков указывает на черты новеллы в сновидениях героев Пушкина [Чумаков, 1993]. Сны-новеллы трех героинь эпохи романтизма объединяет сюжет взаимоотношений с женихом и стремление к счастью. Знаковым текстом этого времени стала баллада В. Жуковского. В сновидении Светланы выделяются три микросюжета. Первый – визит веселого жениха, который обещает ей венчание. Второй сюжет – это поездка ночью в степи, по снегу при луне. Второй микросюжет сна зеркально противопоставлен первому: говорливый и радостный жених теперь молчалив и уныл,

---

а обещанное венчание оборачивается отпеванием мертвого. Страшные предчувствия оправдываются в третьем сюжете, который представляет собой ситуацию испытания и инициации героини. Происходит третье преобразование: радостного жениха в страшного мертвеца. Кульминация сюжета – это поединок мертвеца и голубка, который сначала эротически прильнул Светлане на грудь, а далее не дает встать мертвецу. В Жуковский избегает тайнописи. Фольклорно-мифологическая основа сновидения строится на соотнесении языческой и христианской символики. В сновидении представлено столкновение темных и светлых сил, которые встречаются человеку на дороге жизни. Дорога, поездка на санях, метель, мчащиеся кони – всё это символы движения времени. Образы пространства представляют картины будущего: выход из комнаты, широкий двор, ворота, сани, степь, храм, незнакомые места, дверь, хижина, уголок. В этом отношении сон – тайный учитель жизни для молодой девушки. Именно поэтому жених – Анимус, предстает в трех образах трех сюжетов (счастливого – тревожного – страшного), которые как бы взаимоисключают друг друга. Усиление монструозного начала в образе жениха свидетельствует не только о страхе инициации, но и о скрытом тенденциозном поэтическом пафосе баллады. Может, не случайно брак А. Протасовой, которой посвящена баллада, оказался несчастливым. Но пережитый сон одновременно означает преодоленный страх, и Светлана вступает в новую жизнь, обогащенная сновидным опытом.

Сон Софьи в «Горе от ума» относится к числу придуманных снов. Но Фамусова он встревожил. Дочь как бы хочет подготовить отца к правде о своей жизни. В сновидении два микросюжета: счастливая история свидания с любимым на лугу, а далее сцена в темной комнате. Она прервана появлением отца. Грибоедов, подобно Жуковскому, неожиданно склеивает два сюжета: «Потом пропало все: луга и небеса. – / Мы в темной комнате. Для довершенья чуда / Раскрылся пол – и вы оттуда / Бледны, как смерть, и дыбом волоса!» [Грибоедов, 1987, с. 47-48]. Софья использует в сне традиционные фольклорные мотивы. Гуляние на цветущем лугу в ожидании жениха встречается и в сказках, и в истории об Амуре и Психее (книга пятая в романе Апулея «Золотой осел»). Насильственное разлучение и мучение влюбленных –

элементы сюжета любовного романа. Сон Софьи содержит мотивы препятствий на пути к желанному браку влюбленных. Придумывая сон, Софья как бы моделирует новеллистический сюжет её жизни.

Сон Татьяны в романе «Евгений Онегин» имеет давние традиции изучения и рассматривается литературоведами с разных точек зрения. Обобщая многочисленные наблюдения исследователей над фольклорными мотивами в тексте сновидения, Ю.М. Лотман пишет: «Сон Татьяны – органический сплав сказочных и песенных образов с представлениями, проникшими из святочного и свадебного обрядов» [Лотман, 1980, с. 266]. События сновидения Татьяны можно представить в виде обособленных микросюжетов: Татьяна в лесу; появление медведя и преследование; Татьяна из сеней украдкой наблюдает за пиром шайки чудовищ и Онегина; она обнаружена; Онегин и Татьяна наедине; появление Ольги и Ленского, ссора с Онегиным. Действие развивается стремительно, на это указывает и семикратный повтор наречия «вдруг». Архетип Анимуса представлен в трех образах: медведя (помощник, преследователь, похититель), Онегина (соблазнитель) и Ленского (спаситель). Образ сестры – архетип Тени героини – играет роль Самости и спасает Татьяну от роли жертвы. Но опыт смирения, пережитого в сне-инициации, повторяется в жизненном сюжете судьбы героини. Не случайно в седьмой главе повторяются мотивы поведения героини в сновидении: бледность, трепетность и жертвенность («Природа трепетна, бледна, / Как жертва, пышно убрана») и пассивность («Но Таня, точно как во сне» [Пушкин, 1981, с. 129, с. 136]). Медведь – это тотемный образ славянских племен, прародитель, Отец. Медведица – олицетворяет Великую мать. Известно, что Артемида почиталась как медведица. В романе Татьяну сопровождает образ Дианы (дева «окружена лучом Дианы»), а сама героиня уподоблена лани («как лань лесная боязлива»), животному Дианы / Артемиды. Лес, луга – это тоже любимые места этой богини. Указание поэта в примечании на греческие корни имени русской героини позволяет соотнести с Татьяной и богиню-девственницу, и тотемный образ древних греков и славян.

**3. Сны-мистерии в произведениях И. Тургенева, Н. Лескова, Л. Толстого.** В части литературных снов явно обнаруживаются традиции готического романтизма, поэтики ужасного, близкие

средневековым мистериям и романам-триллерам. Именно поэтому такие сновидения можно соотнести с жанром мистерии. Для них характерно: присутствие эсхатологических мотивов, образы ада и мучений, готические пейзажи, загадочные образы. Эти сны снятся героиням, испытывающим муки совести и раскаяние, предчувствующим возмездие.

В книге «Странный Тургенев» В.Н. Топоров показал, что у И.С. Тургенева сны играли важную роль не только в произведениях, но и в жизни, о чем свидетельствуют его письма и воспоминания. «Сновидческая деятельность Тургенева была исключительно обильной, снам он придавал высокое значение, догадываясь об их произвольности и о тайнах, скрывающихся за снами, но и приоткрываемых, хотя и не до конца, ими» [Топоров, 1998, с. 123]. Роман «Накануне» третий роман писателя. В него включены сны двух главных героев, Инсарова и Елены. Нас интересует сон героини, который введен в 34 главу. Этот сон предшествует трагической развязке. Сон Елены состоит из двух сюжетов. В первом сюжете Елена плывет по пруду, который в дальнейшем превращается в море, она плывет с незнакомыми людьми. Автор уделяет большое внимание описанию моря. Он использует эпитеты: «беспокойное море: огромные, лазоревые, молчаливые волны», «что-то гремящее, грозное». Этот сюжет описывает катастрофу. Сюжет плавания по морю, реке – это традиционный средневековый символ жизненного пути и приключений. События сновидения соотносятся с эпилогом романа – «Ходили темные слухи, будто бы несколько лет тому назад море, после сильной бури, выкинуло на берег гроб, в котором нашли труп мужчины...» [Тургенев, 1981, с. 208]. Образ моря в этом сновидении вызывает мифологические параллели с царством Аида. Море разделяет миры живых и мертвых. В.Н. Топоров в главе «Архетип моря («морской» синдром)» пишет, о частом повторении морских образов и мотивов в сновидениях героев Тургенева: «Наиболее существенным для Тургенева были связи моря, «морского» «со смертью и ужасом» [Топоров, 1998, с. 192]. Действие во втором онейрическом сюжете происходит в России; в Москве. Елена едет по снежному полю в повозке, а с ней подруга Катя, умершая в детстве. Им холодно. Дорога ведет в монастырь, где в душной келье заперт Дмитрий. «Я должна его освободить», – думает во сне Елена. И тут их повозка

проваливается в пропасть. Образы-символы сновидения: белый снег, дорога, тесные кельи, седая, зияющая пропасть. Во сне Елене не удается спасти Инсарова, и наяву он умирает. Белое лицо Инсарова перед смертью соотносится со светописью сновидения. Снег во сне, падение в пропасть, бездну – символы трагических событий. В двух сюжетах сновидения Елены раскрываются сильные стороны её натуры и пророчески предсказана судьба странницы (по морю, по снежной дороге). Героиня Тургенева наделена интуицией, способна сопереживать и предчувствовать несчастье. Сон Елены пророческий: Инсаров вскоре умирает, а она не вернулась на родину, и ее след затерялся.

В повесть «Леди Макбет Мценского уезда» включен яркий чувственный сон изменяющей мужу Катерины Измайловой. Главный образ сновидения – это необыкновенный кот. Кот – архетип Анимуса, мужского начала, которому подчиняется Катерина. Аналогия между котом и Сергеем подчеркнута самим автором. Еще Артемидор писал: «Кот означает прелюбодея, потому что он охотится за птицами, а птицы, как я уже отмечал в первой книге, сходны с женщинами» [Артемидор, 1999, с. 277]. Мифофольклорная традиция считает кота символом злых сил, хитрости, коварства, измены, которую придется пережить Катерине. В сновидении Самость Катерины, ее «Я», удивляется коту, то есть тем злодеяниям, которые она совершит ради страстной любви. Удивление и вопросы героини во сне – это знаки осознанного сновидения и одновременно пророческие указания на будущие разочарования, которые принесет ей преступная связь.

В рассуждения В. Набокова о «двойном кошмаре» (так он называет сновидение Анны и Вронского в романе «Анна Каренина») вплетаются и собственные наблюдения писателя и исследователя над природой сновидений. «Мы должны уяснить, что сон – это представление, театральная пьеса, поставленная в нашем сознании при приглушенном свете перед бестолковой публикой. Представление это обычно бездарное, со случайными подпорками и шатающимся задником, поставлено оно плохо, играют в нем актеры-любители. Но в данный момент нас интересует то, что актеры, подпорки и декорации взяты режиссером сна из нашей дневной жизни. Некоторые свежие и старые впечатления небрежно и наспех перетасованы на мутной

сцене наших снов» [Набоков, 1996, с. 256]. В. Набоков считает, что сны «похищены из нашей дневной жизни, но приняли новые формы и вывернуты наизнанку экспериментатором-поставщиком, а вовсе не венским затейником» [Набоков, 1996, с. 256].

В двойном сновидении, действительно, многое «похищено» из двух дневных жизней. Во сне Вронского мужик напоминает того мужика-обкладчика, который играл важную роль в медвежьей охоте. «Мужик маленький с взъерошенной бородой и страшный» во сне Анны – похож на того железнодорожного истопника, которого она видела в поезде при возвращении из Москвы. Представим эволюцию сквозного, повторяющегося вариативного образа сновидения в сознании Анны. Обратим внимание на то, какие метаморфозы совершаются над главным образом кошмара: *мужик этот с длиною талией – мужик маленький с взъерошенной бородой и страшный – старичок-мужичок с взлохмаченной бородой – мужичок*. Уменьшение размеров образа и превращение мужика в мужичка как бы увеличивает производимый им ужас. Он похож на гнома, лемура, карлика-колдуна. В повторяющемся кошмаре Анны трансформируется характер его действий: *грызет – нагнул над мешком, копошится, приговаривает – что-то делал над железом, приговаривая; делает это какое-то страшное дело в железе над нею – приговаривая что-то, работал над железом*. По мере варьирования в онейрическом тексте мешок заменяется железом. Это породило подробно аргументированное предположение японских исследователей о том, что «образ мужика в романе может быть непосредственно соотнесен с фольклорно-мифологическим образом кузнеца» [Сато, Сорокина, 1998, с. 139]. Повторяющийся вариативный сон как бы прошивает текст и сюжет большого романа, а его образы (*страшный мужик / мужичок / старичок, железо, мешок / мешочек, французская речь, пространство спальни, угол, ужас, темнота и свет, камердинер Корней*) неоднократно возникают в романной яви.

Символика сновидения связана не только с античными мифонимами, но и с образами христианского ада. Не случайно после возвращения Анны из Москвы муж сообщает ей, что читает «Duc de Lille, «Poesie des enfers» (Герцога де Лиля «Поэзия ада») [Толстой, 1987, с. 126]. Исследователи и комментаторы романа

считают, что автор и книга вымышлены, и это редкий для Толстого случай пародийной мистификации, хотя названное имя, по мнению комментаторов, «отдаленно напоминает имя поэта Леконт де Лиля» [Толстой, 1987, с. 489]. Возникает вопрос, зачем понадобилось автору ввести эту деталь в роман? Анализ сцепления французских фраз в романе выводит нас на соотнесенность названия вымышленной книги и французской фразы из сна Анны. Мужик в сновидении Анны произносит: «Il faut le battre le fer, le broyer, le pétrir...» [Толстой, 1987, с.400]. Обратим внимание на родство и созвучие слов «le fer» (железо) и «enfer» (ад). Так образ железа начинает соотноситься не только с реалиями романа (*железная дорога, топка, рельсы*), но и с образом посмертного ада, который уготован любовникам.

**4. Сны-видения в произведениях Н. Лескова, И. Тургенева, Ф. Достоевского, И. Гончарова.** В повести «Очарованный странник» митрополит, размышляя о приснившемся сне, пытается определить «простой это сон, или мечтание, или духоводительное видение». Сон тетки Ольги в повести «Павлин» можно отнести к разряду пророческих видений. Сон содержит прямое указание на ближайшие события и аллегорическое предсказание духовного перерождения швейцара Павлина. Сон состоит из двух сюжетов. Первый сюжет самим рассказчиком будет отмечен как сбывшийся наяву. Второй сюжет описывает фантастические метаморфозы облика швейцара. «В одной руке у него будто была его блестящая булава и факел, а в другой – его собственная отрезанная голова, а вокруг него из-под земли выныривали какие-то бледно-розовые птицы: они быстро поднимались вверх, производя нестерпимый свист своими крыльями, а оттуда, с высоты, с этих крыльев сыпались белые перышки и по мере приближения к земле обращались в перетлевший пепел. Минута – и от всей пестроты Павлинова убора уже не осталось и знака, а он стоял весь черный, как обгорелый пень, и был опять с головою, но с какою-то такою страшною головою, что тетушка пришла в ужас, закричала и проснулась» [Лесков, 1973, с. 152]. Человек, несущий собственную голову, ассоциируется с грешниками и святыми. Так, в «Божественной комедии» в девятом рве Злых щелей восьмого круга Ада Данте встречает зачинщика раздора Бертрама де Борна, который лишен головы: «Я видел, вижу словно и сейчас, / Как тело

безголовое шагало... / И срезанную голову держало / За космы, как фонарь, и голова / Взирала к нам и скорбно восклицала» [Данте, 1992, с. 143-144]. Напомним, что поступки швейцара Павлина тоже часто вызывали скандал. «В эпоху Средневековья голова отсеченная – атрибут святого Альбана, первого мученика в христианстве Британии, 3 век; святого Дионисия [Сен-Дени], мученика Парижского, который по легенде был казнен на Монмартре, причём отсеченную голову дали ему же в руки; а также Фелицаты, Едигия, Люциана, Никазия, Валерии и других святых учеников» [Соловьев, 2006, с. 230].

Птицы – символ души и представляют архетип Анимы в бессознательном мужчины. Пестрая ливрея, булава, факел – знаки возвышения, власти, гордости, страсти, духовного возрождения. Все это предстоит пережить Павлину. Превращение белых перьев в пепел, а пестрой ливреи в черные одежды – символизирует ситуацию потери всего достигнутого. Сравнение человека с обгоревшим пнем со «страшной головой» – символизирует тяжелые испытания, прозрение, покаяние. Не случайно посыпание пеплом головы в Священном писании означает смирение, скорбь, отчаяние. Обращает на себя внимание контрастная соотношенность мифосимволики именной номинации героя и образов сновидения. С образом павлина в мифологии связана солярная символика, мотивы изобилия, плодородия и бессмертия (павлин – птица Геры); он символ красоты, гордыни, пронзительности; в мифах Индии он ездовое животное бога распри и войны [Мейлах, 1992, с. 273-274]. Мифологическую природу образа подчеркивает сам Н. Лесков: «Павлин был настоящий павлин, и притом самый нарядный павлин, способный поспорить с наилучшим экземпляром щеголеватой птицы, переделанной Юоною из Аргуса» [Лесков, 1973, с. 138].

«Братья Карамазовы», как ни один из предшествующих романов Достоевского, «буквально перенасыщен вариациями малых форм – притчами, легендами, сказаниями, а также «фактиками», «анекдотами», «картинками», «зарисовками» [Поддубная, 1996, с. 142]. Если рассматривать поэтику романа с точки зрения жанрового синтеза, то в этот ряд малых жанровых форм необходимо включить и жанр сновидения. Жанровая однородность и одноприродность шести включенных в роман онейрических

эпизодов, которые естественно тяготеют друг к другу, позволяет их сблизить внутри полижанровой поэтики романа. В пользу единства онейрического цикла свидетельствует и интертекстуальная природа сновидений Достоевского, который создает сны своих героев из «чужих текстов» или с использованием чужих образов и сюжетов. Из шести онейрических эпизодов, включенных в четыре книги, четыре сновидения принадлежат братьям Карамазовым, а два – женщинам, Грушеньке и Лизе. Эти два женских сна тематически и мотивно связаны со снами героев романа. Остановимся на одном сновидении. Сон Грушеньки в книге «Митя» относится к снам-видениям. Он снится ей неожиданно, когда она в присутствии Дмитрия Карамазова «как бы заснула на одну минуту» и увидела дорогу, блеск снега и месяца, будто едет она далеко-далеко. Проснувшись, она рассказывает ему сон, в котором описан полет на тройке с «милым человеком», «с тобой» [Достоевский, 1976, с. 399]. Снежный пейзаж, звон колокольчика и предшествующий сну разговор о Сибири увязаны с будущей судьбой Дмитрия Карамазова и его невесты. Сон Грушеньки в романе «Братья Карамазовы» представляет собой интертекстуальный вариант стихотворения Я. Полонского [Савельева, 1987], но там это был сон-мечта, а в романе Достоевского поэтические мотивы вплетены в сюжет реальных отношений персонажей.

В роман И. Гончарова «Обрыв» введено два сна Татьяны Марковны Бережковой. Семейная драма возродила в бабушке дремавшие хтонические, языческие силы. Она видит страшное видение-сон о крушении и запустении имения: «поля лежат пустые, поросшие полынью, лопухом и крапивой», «новый дом покривился и врос в землю», «в камине свил гнездо филин» [Гончаров, 1950, с. 667-668]. Этот сон, конечно, выражает и позицию автора, звучит как сон-предупреждение и футурологическое пророчество Гончарова судьбы России. Как в кривом зеркале, в этом сна-апокалипсисе трансформируются мотивы сна-утопии Обломова.

Сновидения представляют самую интимную правду о человеке. Писатели-мужчины дают через литературные сны свое видение женской сущности героинь. Сравнение разножанровых сновидений из произведений русских классиков позволяет увидеть преемственность и типологическое сходство. Каждый писатель делает свои акценты и передает через сновидение соотнесенность

нескольких начал: чувствительного, чувственного, бессознательного и интеллектуально-нравственного. В образах сновидений проявлен женский архетип, архетип Самости и Анимус, а также архетип Тени. Среди женских снов в русской классике выделяются группы девичьих снов о женихе, сны-мучения, чувственные сны, сны-видения, в которых героини предчувствуют судьбы близких людей.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

**Артемидор.** Онейрокритика / Артемидор. – СПб.: ООО «Изд-во «Кристалл», 1999. – 448 с.

**Данте.** Божественная комедия / Данте. – М.: Интерпракс, 1992. – 956 с.

**Достоевский, Ф.М.** Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 14. / Ф.М. Достоевский. – Л.: Наука, 1976. – 511 с.

**Грибоедов, А.С.** «Горе от ума». Комедии. Драматические сцены / А.С. Грибоедов. – Л.: Искусство, 1987. – 413 с.

**Гончаров, И.А.** Обрыв / И.А. Гончаров. – М.: ГИХЛ, 1950. – 780 с.

**Ковальзон, В.М.** Сомнология в XXI веке [послесловие переводчика] / В.М. Ковальзон // Жуве М. Замок снов. – Фрязино, 2006. – С. 5-7.

**Лесков, Н.С.** Собр. соч.: в 6 т. Т. 3. / Н.С. Лесков. – М.: Правда, 1973. – 447 с.

**Лотман, Ю.М.** Культура и взрыв / Ю.М. Лотман // Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб.: Искусство – СПб, 2004. – С. 11-390.

**Лотман, Ю.М.** Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий / Ю.М. Лотман. – М.: Просвещение, 1980. – 416с.

**Набоков, В.В.** Лекции по русской литературе / В.В. Набоков. – М.: Независимая газета, 1996. – 440 с.

**Нечаенко, Д.А.** «Сон, заветных исполненный знаков»: Тайнство сновидений в мифологии, мировых религиях и художественной литературе / Д.А. Нечаенко. – М.: Юридическая литература, 1991. – 304 с.

**Потапова, Р.К., Потапов, В.В.** Язык, речь, личность / Р.К. Потапова, В.В. Потапов. – М.: Языки славянских культур, 2006. – 960с.

**Пушкин, А.С.** Собр. соч.: в 10 т. Т.4. / А.С. Пушкин. – М.: Правда, 1981. – 430 с.

**Савельева, В.В.** Поэтические мотивы в романе «Братья Карамазовы» / В.В. Савельева // Достоевский. Материалы и исследования. – Л.: Наука, 1987. – С. 125-134.

**Сато, Ю., Сорокина, В.В.** «Маленький мужик с взъерошенной бородой» (Об одном символическом образе в «Анне Карениной») / Ю. Сато, В.В. Сорокина // Philologica. – 1998. – Т. 5. – № 11/13. – С.139-153.

**Серикова, С.К.** Адресант и адресат в онейрических эпизодах казахских эпических поэм / С.К. Серикова // Динамика литературного процесса и проблемы поэтики. Материалы международной научной конференции. – Алматы, 2011. – С.203-207.

**Соловьёв, В.** Толковый словарь сновидений / В. Соловьёв. – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 1488 с.

**Мейлах, М.Б.** Павлин / М.Б. Мейлах // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. Т. 2. – М.: Сов. энциклопедия, 1992. – С. 273-274.

**Поддубная, Р.Н.** Малая проза в «Дневнике писателя» и «Братья Карамазовы» (Идейно-художественные переключки и сопряжения) / Р.Н. Поддубная // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 13. – СПб.: Наука, 1996. – С.131-142.

**Толстой, Л.Н.** Собр. соч.: в 12 т. Т.7. / Л.Н. Толстой. – М.: Правда, 1987. – 475 с.

**Топоров, В.Н.** Странный Тургенев: четыре главы / В.Н. Топоров. – М.: РГГУ, 1998. – 190 с.

**Тургенев, И.С.** Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Т.6. / И.С. Тургенев. – М.: Наука, 1981. – 495 с.

**Чумаков, Ю.Н.** «Сон Татьяны» как стихотворная новелла / Ю.Н. Чумаков // Русская новелла. Проблемы теории и истории. Сб. ст. – СПб.: Изд-во СПб ун-та, 1993. – С. 85-105.

Т. Крылова<sup>1</sup>

*Братиславский институт права*

М. Штевкова<sup>2</sup>

*Братиславский университет им. Я. Коменского*

**ОБРАЗОВАНИЕ И МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ –  
ДОРОГА К КАЧЕСТВЕННОМУ ПЕРЕВОДУ  
ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ.  
ОПЫТ СЛОВАКИИ**

Статья описывает институт присяжных переводчиков, который сложился в настоящее время в Словакии. Анализируются необходимые знания и навыки присяжного переводчика, описываются технологии перевода.

**Ключевые слова:** юридический перевод, технологии перевода, навыки переводчика

T. Krylova

*Bratislava Institute of Law*

M. Shtevkova

*Bratislava University. J.A. Komensky*

**EDUCATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT –  
A PATH TO FINE TRANSLATION OF LEGAL TEXTS.  
SLOVAK EXPERIENCE**

The article describes the Institute of Certified Translation, which has developed now in Slovakia. The authors highlight the necessary knowledge and skills of a certified legal translator, and describe translation technique.

---

<sup>1</sup> Крылова Т., переводчик-лингвист, магистр юридических наук, факультет права Братиславского института права (Словакия).

<sup>2</sup> Штевкова М., доктор филологических наук, кафедра германистики, нидерландистики и скандинавистики университета им. Коменского (г. Братислава, Словакия).

**Keywords:** legal translation, translation technique, translator skills

В Словакии уже несколько десятилетий существует институт судебных (присяжных, сертифицированных) переводчиков. Юридически заверенные переводы осуществляются исключительно судебными переводчиками. Сертифицированным переводчиком является физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в официальном списке сертифицированных переводчиков Министерства юстиции или же не зарегистрированное в нем, но назначенное на выполнение данной функции государственным органом. Судебному переводчику государством предоставлено право засвидетельствовать верность переводов документов с одного языка на другой, выполненных им самим или каким-либо другим лицом, верность копий таких переводов и верность копий переводимых документов. Присяжного переводчика, зарегистрированного в списке Министерства юстиции не нужно каждый раз приводить к присяге и предупреждать об ответственности за неправильный перевод в судебном заседании.

Потребителю переводческих услуг достаточно лишь выбрать переводчика из списка Министерства юстиции. Этот список бесплатно доступен, в том числе, и в Интернете, на официальном сайте министерства юстиции. Помимо фамилии, имени переводчика и языка, с которого он имеет право делать официальные переводы, в списке указаны его номер телефона, e-mail, почтовый адрес. Переводчик выступает гарантом правильности перевода и несет личную юридическую ответственность за вред, причиненный нарушением своих служебных обязанностей. Государство не отвечает за вред, причиненный присяжным переводчиком.

Лицу, решившему стать судебным переводчиком, необходимо соблюсти некоторые формальности, главные из них - наличие академического высшего образования и сдача квалификационного экзамена комиссии, утвержденной министерством юстиции Словакии. К сдаче экзамена на получение квалификации присяжного переводчика допускаются по личным заявлениям дееспособные граждане, в отношении которых неизвестно ни одного обстоятельства, служащего препятствием для присвоения квалификации присяжного переводчика. За возможность быть

допущенным к сдаче экзамена взимается государственная пошлина, которая составляет порядка 150 Евро и в случае провала на экзамене не возвращается. Имена переводчиков, успешно сдавших экзамен, заносятся в официальный список переводчиков Министерства юстиции. Лица, сдавшие экзамен и получившие квалификационное свидетельство, круглую печать переводчика, должны принести присягу. В квалификационном свидетельстве указываются языки, в отношении перевода на которые или с которых был сдан экзамен, результаты экзамена и аттестации, а также иные необходимые сведения.

Переводчики делятся на тех, кто выполняет только устные или же только письменные переводы, но также один и тот же переводчик может быть занесен сразу в оба списка, что зависит от его желания и успешности сдачи им экзаменов по устному и письменному переводу. Деятельность этих переводчиков, включая тарифы, регулируется Законом о судебных переводчиках. Ставка оплаты за услуги присяжного переводчика утверждена законом и составляет 20 Евро за страницу.

Присяжный переводчик обязан вести журнал регистрации служебных действий, куда вносятся записи о свидетельствовании верности переводов и копий. Эти данные раз в квартал передаются переводчиком в Министерство юстиции. На засвидетельствованных присяжным переводчиком переводах и их копиях должны быть указаны размер платы, полученной за свидетельствование, номер записи в журнале регистрации служебных действий, имя присяжного переводчика и номер его квалификационного свидетельства, подпись и оттиск печати присяжного переводчика.

Институт сертифицированных переводчиков существенно облегчает жизнь потребителю переводческих услуг, однако вовсе не является панацеей от непрофессионализма в области переводов. Дорогой к грамотному профессиональному переводу является постоянное повышение уровня эрудированности переводчика, повышения уровня владения переводческой техникой и методами перевода, а также постоянное применение этих знаний на практике.

В данной статье говорится о необходимости систематического развития переводческой компетентности и об организации для этого теоретической базы в области транслатологии, языковедения

и терминологии как залога качественного перевода для широкого спектра потребителей переводческих услуг. Обращено внимание на развитие специфических переводческих техник, применяющихся в области устного перевода для государственных органов, таких, как суды, полиция и миграционная полиция, а также на возможности использования современных технологий и «софтвера» при переводе юридических текстов.

## **2. Профессиональные знания и навыки**

Компетенции, необходимые переводчику для реализации качественного перевода, определяются целью перевода. Задачей устного переводчика является правильный выбор метода перевода в зависимости от коммуникативной ситуации. Согласно Висман (2004), цели обращения к судебным переводчикам в рамках процесса перед лицом государственных органов можно разделить на следующие группы:

- судебные споры, связанные с защитой прав иностранцев и иностранных юридических лиц. Задачей переводчика в данном случае является по возможности полная передача информации об отечественной или иностранной правовой системе с точки зрения прав участников судебного процесса;
- применение права другой страны в отношении участников правоотношений или исполнение судебных поручений иностранных судов;
- признание права участника правоотношений в иной системе права;
- передача информации о нормах права и культуре в многоязычных системах права;
- передача информации о способах создания правовых норм в иной системе права;
- обмен знаниями о правовой системе иностранного государства и правовой культуре;
- мероприятия по обмену знаниями и опытом в области международного права;
- мероприятия по обмену знаниями в области международной правовой системы [Висман 2004, стр. 93-107].

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что цели устного и письменного перевода в правовом контексте разделяются на

*институциональные и неинституциональные* [Висман 2004, стр.107], однако в обоих случаях направлены на создание, определение, признание и реализацию права. Если преследуется институциональная цель, то речь идет о перформативных типах коммуникантов, которым необходимо получить точный перевод, буквальный, то есть переводчик в данном случае имеет строго ограниченное пространство для интерпретации, изложения или предоставления изначальной информации в сжатом виде. Если же перевод осуществляется с неинституциональной целью, то переводчику предоставляется возможность изменения оригинала, учитывая особенности потребителя перевода.

Главной задачей успешного перевода, согласно Норд (2002 г.), является поиск способов преодоления возможных трудностей перевода, используя знания о видах текстов и структуре текста. Выбор подходящего метода перевода и способа его применения зависит от цели перевода.

Качественный перевод юридического текста согласно Арнтцу (2001 г.) возможен лишь при наличии следующих знаний и навыков:

- профессиональная компетентность – профессиональное образование и мышление<sup>1</sup>;
- владение транслатологическим методом анализа текста;
- профессиональные языковые знания в области терминологии, терминографии, фразеологии, текстообразования;
- технологические знания.

Из вышеуказанного следует, что для успешной реализации в профессии юридического переводчика необходимо уверенное владение теоретической базой и менеджментом знаний совместно с применением современных языковых технологий и практических навыков в области терминологии, которые являются неотъемлемой частью накопления и консистентного использования переводческих

---

<sup>1</sup> Подробный анализ необходимых знаний в указанной области сравни Сандрини [Sandrini, 1999, s.11-37].

эквивалентов в похожих контекстах<sup>1</sup>. В следующей части мы поговорим о последнем из указанных навыков.

### **3. Современные технологии в юридическом переводе.**

Ориентация в широком спектре доступных источников терминологии – задача не из легких. Переводчику необходимо регулярно оценивать качество источников терминологии, их содержание и архивировать полученную из них информацию. Помимо классических источников терминологии, которыми являются электронные словари и базы данных, переводчик располагает выдержками из юридических текстов, благодаря которым имеет возможность сориентироваться в значении того или иного термина в зависимости от контекста. Важным условием успешного перевода является правильный выбор источника с точки зрения доступных функций и параметров. Обширные базы данных юридических текстов располагают различными системами поиска терминов как в языке оригинального текста, так и в языке, на который делается перевод. Есть и такие, которые позволяют перейти по ссылке на иные источники и найти определения, схемы словосочетаний и иные эффективные способы определения значения термина. Источники терминологии требуют постоянного обновления, а полученную из них информацию необходимо регулярно систематизировать, иначе переводчик рискует потерять слишком много времени, прежде чем сможет найти и воспользоваться нужным ему материалом.

Можно утверждать, ссылаясь на Сандрини [Sandrini, 1999, с. 11-37], что в настоящее время не уделяется достаточно внимания созданию баз текстовых данных, ориентированных на конкретный тип текста в большинстве правовых систем. Наличие таких баз данных позволяло бы сравнить структуру текста, его функцию и положение в системе и выделить сравнимые по значению термины в контекстах, что в свою очередь значительно бы облегчило поиск искомых переводческих эквивалентов.

При использовании вышеуказанных технологий переводчик сталкивается с различиями в юридической терминологии на

---

<sup>1</sup>Ср.: МШ (MŠ): Языковые технологии в юридическом переводе с малораспространенных языков (2010).

национальном и международном уровне. Согласно теории скопоса, критерием успешности деятельности переводчика выступает достижение им цели коммуникации, которую задаёт отправитель перевода. Интересно, что теорией допускается парадоксальная ситуация, когда текст оригинала вообще не существует и переводчик самостоятельно создает свой текст, руководствуясь знанием цели или указаниями заказчика. Наднародные тексты часто содержат интернационализмы, которые в народных текстах представляют заимствования. Можно привести примеры слов, которые в народных и наднародных текстах являются либо полными синонимами, либо частичными эквивалентами, которые в контексте международного права имеют иное значение, нежели в контексте внутреннего права<sup>1</sup>. Выбор подходящего термина в целевом юридическом контексте необходимо согласовать с контекстом подчинения народного права наднародным нормам права.

### **3.1 Переводческая память в переводе юридических текстов**

Переводческие компьютерные программы благодаря имеющейся памяти позволяют заменять повторяющиеся части текста оригинала на всегда одинаковый вариант их перевода, что значительно ускоряет переводчику процесс работы. В настоящее время рынок предлагает несколько переводческих программ, использование которых можно по достоинству оценить при использовании в переводах больших объемов или же при неоднократных переводах текстов похожего содержания. Неоценимую роль для переводчика играет способность программы приспособить формат текста перевода формату текста оригинала. Следует отметить также, что разные программы, установленные на один компьютер, как правило, сопоставимы.

---

<sup>1</sup>Более подробно о вопросе синонимии в правовой терминологии на примере немецкого языка говорит Дюричова (Ďuricová) (2008): «...язык права не является исключением в использовании синонимичных или многосмысловых слов. *Чаще всего ими являются отечественные эквиваленты иностранных слов, компактное выражение длинных языковых форм, простые слова или же многословные термины совместно с композитами...*» [Дюричова, 2008, с.33].

Большим преимуществом данных программ является возможность создания базы терминов непосредственно в процессе перевода, потому что согласно тому, о чем мы говорили выше, переводчику достаточно сложно совместно с непосредственным занятием своей деятельностью систематически отводить время созданию базы переводческих эквивалентов. Хотелось бы подчеркнуть, что созданная таким образом база данных состоит из терминологических эквивалентов, которые тесно связаны с контекстом исходного текста, а потому может быть использована лишь при переводе подобных по содержанию текстов. Данное обстоятельство необходимо учитывать и не полагаться полностью на программный перевод, так как контексты и типы текстов повторяются лишь изредка.

Когда речь идет о правовом переводе, то можно однозначно утверждать, что переводческие программы представляют собою большое подспорье при переводах секундарных юридических переводов, как, например, решения судов, повестки в суд, разъяснения допрашиваемому его процессуальных прав и обязанностей и пр., где повторяются стандартные формулировки, взятые из правовых актов. Большим препятствием в использовании переводческих программ является определенная консервативность государственных органов, которые не желают передать переводчику документы в электронном виде, а дают лишь распечатанную версию. В таком варианте переводчику необходимо вначале отсканировать текст, а затем подвергнуть его языковой обработке. Трудность представляет также работа с графическими элементами, которые встречаются в различных официальных формулярах и обработка которых значительно тормозит процесс перевода. Проблемы при трансформации исходного текста в подходящий для переводческой программы формат возникают и в случаях, когда этот исходный текст был составлен с ошибками при обращении с текстовым редактором.

Когда речь идет о малораспространенных языках, то у переводчика значительно снижается возможность использования терминологических баз данных или их вообще может не быть, поэтому в первую очередь ему приходится полагаться на свои собственные знания, навыки и опыт в применении теории эквивалентности, компенсационных переводческих методик,

---

современной стилистики, чтобы предоставить получателю перевода качественный продукт. Систематическую профессионализацию перевода осложняет несколько факторов, связанных с применением языковых технологий в данной области. Частичная замена интеллектуальной стороны работы переводчика новыми технологиями при малораспространенных языках и при языках доминирующих не может развиваться одинаково из-за присутствия широкого спектра текстов, областей и потребителей перевода. Данное обстоятельство отражается на образовании будущих переводчиков малораспространенных языков, которые, как и прежде, должны в первую очередь делать ставку не на технологии, а на классическую теорию транслатологии и систематическое развитие переводческой компетенции.

#### **4. Переводческие техники при устном переводе в государственных органах**

В Словаки после заведения закона № 382/2004 о судебных переводчиках, который разделил переводчиков на устных и письменных, возник недостаток устных переводчиков некоторых языков, так как многие пожелали остаться зарегистрированными лишь в качестве письменных переводчиков. (Устный переводчик должен быть в распоряжении государственных органов 24 часа, и поводом для исключения из этого правила могут являться лишь уважительные причины)<sup>1</sup>. С другой стороны, причиной недостатка устных переводчиков является отсутствие специализированного переводческого образования. Зачастую переводчиками становятся специалисты из других областей, как, например, учителя иностранных языков, которые владеют иностранным языком и смогли успешно сдать экзамен на получение квалификации судебного переводчика. Они могут сделать хороший письменный перевод, но так как не обучались специальным переводческим техникам устного перевода и не владеют данными навыками, то предпочитают не заниматься устным переводом. Устный перевод для государственных органов предполагает владение техникой переводчика-шептуна, перевода с листа, передача краткого

---

<sup>1</sup> Подробнее об этом говорит Шмид: [Шмид, 2010, с. 7-12].

содержания исходного текста, перевода через третий язык, перевода по телефону.

Вопреки указанным фактам государственные органы предприняли определенные шаги для решения проблемы нехватки устных переводчиков. Для осуществления перевода с редких языков таких, например, как сомалийский язык, некоторые государственные органы пользуются выделяемыми Евросоюзом средства и реализуют перевод с помощью переводчиков партнерских организаций, контакт с которыми в данном случае осуществляется по видеосвязи. В иммиграционной полиции Словакии, таким образом, производятся допросы с экзотических языков, например, с сомалийского на словацкий через голландский язык.

В Евросоюзе реализуется проект, в рамках которого внедряется использование телеконференции при переводах. Телеконференция экономит время и средства при реализации переводов с редких языков, для которых существует лимитированное количество переводчиков. Однако, благодаря технологиям телеконференции, доступ к услугам такого переводчика открыт для всех заинтересованных организаций на территории всей страны.

В Бельгии несколько лет успешно внедряется проект по подготовке переводчиков для ведения телефонных переговоров. Переводчиков обучают навыкам проведения коротких переводов ограниченного содержания, инструкций, приказов, для передачи которых не требуется ведение диалога, но являющихся необходимыми для получения информации о том или ином лице.

Для реализации указанных проектов переводчику необходимо владеть специфическими переводческими техниками. При подготовке переводчиков необходимо обращать особое внимание на практические потребности рынка и возможности применения новых технологий и навыков в процессе образования. Богушова [Bohušová, 2008] констатирует, что при образовании судебных переводчиков важно: «...при симулировании переводческих ситуаций исходить из того, что фазы переводческого процесса находятся в процессе развития и совершенствования, а потому должны находиться в центре внимания при тренировке переводческой реакции и развития адекватной речевой реактивности» [Bohušová; 2008, с.21].

Проблемы переводчиков и образования переводчиков во многих европейских странах, некоторые из которых представлены нами в этой статье, наводят на мысль о том, что это одна из областей, где Европа может позаимствовать опыт у России. В России есть учебные заведения, окончив которые, переводчик по определению не может быть плохим.

## 5. Будущее

В заключение приведем несколько рекомендаций международной рабочей группы, которая на протяжении продолжительного времени анализировала проблематику юридического перевода в выбранных государствах ЕС и опубликовала результаты данного анализа под названием Статус Кэстионис [Status Quaestionis, 2006], содержание чего является предметом для дальнейшего обсуждения результативности профессии переводчика в госструктурах.

Компетентные органы стран Евросоюза:

- должны обратить особое внимание на юридические и этические аспекты перевода правовых текстов и донести необходимую информацию адресатам перевода с целью создания образовательных переводческих структур;

- должны собрать необходимую информацию и данные с целью систематического планирования повышения качества и функциональности правовых переводов на практике;

- должны создать специализированные образовательные структуры для правовых переводчиков, которые бы в разных странах имели подобную структуру, уровень и позволяли бы реализовать программы обмена для студентов, изучающих те или иные языки;

- должны контролировать качество переводческой работы. Предлагаемой формой контроля является аудио- и видеозапись перевода с последующим резюмированием опытными устными и письменными переводчиками, которые уже получили специализированное переводческое образование и не один год используют его на практике [Hertog, van Gucht, 2006 с.189-200].

Право на переводчика является одним из процессуальных прав граждан ЕС, реализация которого может значительно изменить ход судебного процесса и повлиять на решение судьи. Вот почему

данная область заслуживает особого внимания со стороны отраслевой транслатологии, а также со стороны государственных органов и международных организаций.

Эффективное координирование образования и управления переводческой деятельностью в контексте правовой коммуникации, а также целевой менеджмент оценки качества перевода на народном уровне совместно с развитием сотрудничества с наднародными структурами помогут создать и развить стандарты в области образования с целью повышения качества переводческих услуг. Однако без личной заинтересованности и ежедневных усилий переводчика по повышению уровня собственной эрудированности, навыков и опыта в переводческом мастерстве все внешние усилия будут тщетны.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

**Arntz, R.:** Fachbezogene Mehrsprachigkeit in Recht und Technik. Hildesheim, Olms 2001.

**Asensio, R.M.:** Translating Official Documents. Manchester-Northampton 2003.**FRID, A.,**

**Bohušová, Z.:** Subjektívne vnímanie tlmočnickeho výkonu poslucháčmi a problematika posudzovania kvality translačnej služby. IN: (red.) A. Ďuricová: Od textu k prekladu III, Praha 2008, Jednota tlmočníků a překladatelů. S.17-26/

**Dlouhá, P.:** Komparativní výzkum právní terminologie. IN: (red.) A. Ďuricová: Od textu k prekladu, Praha 2006, Jednota tlmočníků a překladatelů/ S.17-22/

**Ďuricová, A.:** Niekoľko poznámok k problémom pri preklade právnych textov. IN: Ďuricová, A. (red.): Od textu k prekladu II. Praha 2008/ S. 30-36/

**Groot de, G., Van Lear, C. J.P.** 2007. The dubious quality of legal dictionaries. In:International journal of legal information, jg. 34, nr.1 (2007). P. 65-85/

**Hertog, E., Gucht v., J.:** Status Quaestionis. Ouestionnaire on the provision of Legal Interpreting and Translation in the EU, Antwerp-Oxford-Portland 2008.

**Knap-Dlouhá, P., Štefková, M.:** Twee aspecten van translatie in de juridische praktijk gebaseerd op de theorie van Rakšányiová. IN: ŠTEFKOVÁ, M. (red.): *Vízie Translatológie*. Bratislava 2010. P.

**Nord, Ch.:** *Fertigkeit Übersetzen*. Editorial Club Universario Alicante 2002.

**Rakšányiová, J.:** *Cielená príprava na prekladateľské povolanie*. IN: Rakšányiová,

Jana (red.): *Šesť aspektov translácie*. AT PUBLISHING, Bratislava 2008.

**Rakšányiová, J.:** *Translatologické kompetencie adepta prekladateľstva*. Bratislava, 2009.

**Rakšányiová, J., Štefková, M.:** *Terminologische ondersteuning bij juridisch vertalen van nationale rechtsteksten uit en in weinig verspreide talen*. IN: *Neerlandistische ontmoetingen*, Wroclaw : ATUT, 2008. S. 371-379/

**Sandrini, P.:** *Terminologiearbeit im Recht. Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz vom Standpunkt des Übersetzers*. Vienna: TermNet 1996.

**Sandrini, P.:** *Translation zwischen Kultur und Kommunikation: Der Sonderfall Recht*. IN: Sandrini, P (red.): *Übersetzen von Rechtstexten. Fachkommunikation in Spannungsfeld zwischen Rechtsordnungen und Sprachen*. Tübingen, Narr/ S. 11-37.

**Schmiedtová, M.:** *K niektorým problémom činnosti tlmočníka a prekladateľa z pohľadu Ministerstva spravodlivosti SR*. IN: Guldánová, Z. (red.): *Teória a prax súdneho prekladu a tlmočenia*, Bratislava 2010. S 7-12.

**Štefková, M.:** *Terminologické trendy v odbornom preklade*. IN: *Terminologické fórum II: socioterminológia, textová a prekladová terminológia ( CD ROM)*, Trenčín : TU A. Dubčeka, 2009 s. (1-8)

*Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom zo 4. decembra 2003*

*Zákon č. 382/2004 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.*

*Norma ISO 860:2007 Terminology work - Harmonization of concepts and terms.*

*Norma ISO/TR 22134:2007 Practical guidelines for socioterminology.*

## ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

В.В. Борисова<sup>1</sup>

*Башкирский государственный педагогический университет им.  
М. Акмуллы*

### ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТЬ В «ДНЕВНИКЕ ПИСАТЕЛЯ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

В статье как феномен интермедиальности рассматривается «Дневник писателя» Ф.М. Достоевского. В его стиле комбинируются слово, зрительный образ и ритм. Особенности визуальной поэтики и речевой формы анализируются на материале очерка «Похороны общечеловека».

**Ключевые слова:** Ф.М. Достоевский, «Дневник писателя», интермедиальность, интердискурсивность, эмблематический и ритмический коды.

V.V. Borisova

*Bashkir State Pedagogical University named  
after M. Akmulla*

### INTERMEDIALISM IN «A WRITER'S DIARY» BY FYODOR DOSTOYEVSKY

The paper considers Fyodor Dostoyevsky's «A Writer's Diary» as a case of intermediality. His style is a combination of word, visual image and rhythm. Particulars of Dostoyevsky's visual poetics and his speech form are discussed on the example of Dostoyevsky's essay «Funeral of the Common Human».

**Keywords:** Fyodor Dostoyevsky, «A Writer's Diary», intermediality (intermedialism), interdiscursivity, emblematic and rhythmic codes.

---

<sup>1</sup> Борисова Валентина Васильевна, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой русской литературы Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы (г. Уфа), член Международного и Российского общества Ф.М. Достоевского.

Проблема интертекстуальности и интермедиальности в творчестве Достоевского специально обсуждалась на XIII симпозиуме Международного общества Достоевского в Будапеште в 2007 году. Думается, что она актуальна до сих пор и в отношении «Дневника писателя». Современное состояние его изучения дает возможность для обобщения и расширения научных представлений о его стиле, имеющем интердискурсивную природу.

Под интердискурсивностью в данном случае понимается взаимодействие художественного языка с дискурсами, расположенными вне его поля – религиозным, философским, публицистическим и т.п. Действительно, «Дневник писателя» – синкретическое в дискурсивном отношении произведение, и его синкретизм обусловлен чрезвычайной многогранностью творческой индивидуальности самого автора.

В этом плане заслуживают внимания связи словесного текста Достоевского, художественно-публицистического по своему преимущественному характеру, с другими видами искусства: прежде всего с визуальными, изобразительными и выразительными.

Соответственно поэтика интердискурса в «Дневнике писателя» может быть рассмотрена, на наш взгляд, с учетом интермедиального аспекта текстов, входящих в его состав, в частности, с учетом их визуального, эмблематического и ритмического кода, запрограммированного автором.

Под эмблематическим кодом, обращение к которому помогает читательскому постижению авторского замысла, имеется в виду старинная словесно-графическая триада: вербализованная картинка (*pictura*), надпись-имя (*inscriptio*) и подпись-толкование (*subscriptio*).

Ритмический же код аналогичен эмоционально-музыкальной партитуре, актуализируемой исполнителем, в данном случае, читателем, испытывающим мощное суггестивное воздействие текста, искусно организованную магию слова.

Итак, в «Дневнике писателя» комбинируются слово, зрительный образ и ритм, в результате чего возникает некое новое, синтетическое единство. Присутствие визуальных и музыкальных элементов в вербальном ряду порождает особый художественный эффект.

Данные положения можно подтвердить на примере анализа и интерпретации целого ряда репрезентативных произведений из журнала Достоевского. В первую очередь их отличает визуальная поэтика, эмблематичность образов как результат следования художественной традиции словесного рисования (*picta poesis*).

Особенно примечателен в этом отношении, напр., очерк «Похороны общечеловека», который можно рассмотреть с разных точек зрения, в зависимости от выбранного теоретического дискурса.

На наш взгляд, данный текст Достоевского предельно эмблематичен, другие исследователи представляют его как словесную икону (Т.А. Касаткина); возможна его интерпретация и в контексте экфразиса.

Эти дискурсы друг другу не противоречат: перед нами разные языки описания одного и того же художественного феномена визуализации словесного образа. Нельзя не отметить, что она носит прямо и открыто заявленный сознательный характер, то есть мы имеем дело с целенаправленной художественной стратегией писателя, назвавшего свое произведение «картинкой с “нравственным центром”».

Он ее действительно «рисует». Так, разворачивая историю жизни и смерти доктора Гинденбурга, Достоевский восклицает: «Если б я был живописец, я именно бы написал этот «жанр», эту ночь у еврейки-родильницы» [Достоевский, 1983, с. 91]. Далее он, по сути, исполняет свое желание и уподобляется Рембрандту в искусстве композиции света и персонажей. Он помещает их в точку пересечения вертикальной перспективы («Всё это видит сверху Христос...») и выстраивает по горизонтали сцену с христианином и евреем.

При этом писатель демонстрирует великолепное знание законов живописи. Сознвая преимущества наглядного изображения, он подчеркивает, что для собственно художника здесь содержится «роскошь сюжета». В свой подробный, по сути, искусствоведческий комментарий писатель включает и «перетасовку [...] нищих предметов и домашней утвари в бедной еврейской хате», и организацию «интересного освещения», и крупным планом выписанные фигуры: «восьмидесятилетний обнаженный и дрожащий от утренней сырости торс доктора может

занять видное место в картине, не говорю уже про лицо старика и про лицо молодой, измученной родильницы, смотрящей на своего новорожденного и на проделки с ним доктора» [Достоевский, 1983, с. 91].

Достоевский добросовестно описывает все атрибуты в предлагаемом сюжете, крупным планом выделяя то, что сам назвал «нравственным центром» в картине: «христианин принимает еврейчика в свои руки и обвивает его рубашкой с плеч своих...». «Всё это видит сверху Христос...», – заканчивает повествование автор, тем самым обозначая необходимую для эмблемы вертикальную перспективу.

Она дополняется – уже как бы по горизонтали – зеркальной сценой, также чрезвычайно важной для выражения центральной идеи: «бедный жидок вырастет и, может, снимет и сам с плеча рубашку и отдаст христианину, вспоминая рассказ о рождении своем». В центральной точке этого своеобразного композиционного креста оказывается образ «общечеловека» как живой иконы.

Закрывающее главку приглашение автора «написать» живописное полотно выглядит уже несколько избыточным: художник слова великолепно реализовал его живописные возможности, нарисовав яркую и колоритную «картинку». По сути, он сам представил ее словесный аналог. По мнению венгерского исследователя Валерия Лепехина, подобное «описание живописного произведения в условном наклонении» может быть отнесено к экфрасису-проекту, или на другом основании – к экфрасису-переводу и экфрасису-толкованию [Лепехин, 2007, с. 120-121].

Но писатель не ограничивается здесь только визуальной репрезентацией образов: с языка прозы он практически переходит к стихотворной форме речи, усиливая ее музыкальное звучание за счет использования приемов синтаксического параллелизма, лексических повторов, переходящих в анафоры и эпифоры, упорядоченных и симметрично отделенных друг от друга колонов.

Если изменить графический вид соответствующего текста, то он легко раскладывается на стихи:

Эти русские бабы и бедные еврейки  
целовали его ноги в гробу вместе,

теснились около него вместе,  
плакали вместе.  
Пятьдесят восемь лет служения человечеству в этом городе,  
пятьдесят восемь лет неустанной любви  
соединили всех хоть раз над гробом его  
в общем восторге и в общих слезах.  
Провожает его весь город,  
звучат колокола всех церквей,  
поются молитвы на всех языках.  
Пастор со слезами говорит свою речь  
над раскрытой могилой.  
Раввин стоит в стороне,  
ждет и, как кончил пастор,  
сменяет его и говорит свою речь  
и льет те же слезы...  
Ведь пастор и раввин соединились  
в общей любви,  
ведь они почти обнялись  
над этой могилой  
в виду христиан и евреев.

В результате концовка всей главки, посвященной обсуждению «еврейского вопроса», приобретает особый, ударный характер, способствуя дидактическому закреплению заветной идеи Достоевского о возможности всеобщего христианского братства.

Такое соединение визуальности и музыкальности является органичным в поэтике многих произведений из «Дневника писателя», что особенно очевидно в словах, характеризующих не только дискурс героя, но и автора: «Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи» [Достоевский, 1980, с. 42]. Это особое видение и слушание художника слова.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

**Достоевский, Ф.М.** Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 21 / Ф.М. Достоевский. – Л.: Наука, 1980. – 551 с.

**Достоевский, Ф.М.** Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 25 / Ф.М. Достоевский. – Л.: Наука, 1983. – 470 с.

**Лепяхин, В.** Виды экфрасиса в романах Достоевского / В. Лепяхин // XIII Симпозиум Международного общества

---

Достоевского. Ф.М. Достоевский в контексте диалогического взаимодействия культур. – IDS. Budapest: University ELTE – Institute of Slavic and Baltic Philology, 2007. – P. 120-121.

Е.А. Осокина<sup>1</sup>

*Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН*

## **АЛЬФА И ОМЕГА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

В статье вновь говорится о необходимости иного прочтения творческого наследия Достоевского – без терминов и понятий советского литературоведения, но на структурообразующей православной богослужебной основе в полноте ритуала, текста и предания, – что открывает произведения как совершенные по форме и содержанию.

**Ключевые слова:** Достоевский, русская литература, православное богослужение как подтекст, терминология типикона, целое и частное, «сквозные» темы, библейская и бытовая лексика, основа литературы, совершенство формы.

E.A. Osokina

*V. V. Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences*

## **ALPHA AND OMEGA OF RUSSIAN LITERATURE**

In the article again identified the need for a different reading of the creative heritage of Dostoevsky – without terms and concepts of Soviet literature, but on the structural Orthodox liturgical the basis of the completeness of the ritual, text and tradition, – that opens works as perfect in shape and content.

**Keywords:** Fyodor Dostoyevsky, Russian Literature, Orthodox worship as implication, tipikon terminology, whole and particular,

---

<sup>1</sup> Елена Анатольевна Осокина, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (г. Москва).

crosscutting themes, biblical and household vocabulary, basis of the literature, the perfection of form.

*«Ныне уразумели они, что всё,  
что Ты дал Мне, от Тебя есть,  
ибо слова, которые Ты дал Мне,  
Я передал им, и они приняли,  
и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя,  
и уверовали, что Ты послал Меня».  
(Ин 17:7-8)*

Ⲓ и Ⲙ – крайние буквы греческого алфавита – значимы для филолога (так называли в Риме христианина (Рим 16:15) как слова Христа, переданные Иоанном Богословом: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель» (Откр 1:8), «... жаждущему дам даром от источника воды живой» (Откр 1:8, 21:6), «... Первый и Последний» (Откр 22:13). Соединение начала и конца в Иисусе Христе есть Истина – сущее всегда, т.е. вечное и должное. То, что за пределами вечного, – иное, другое. Достоевский говорит: «Но, разумеется, никогда нам не исчерпать всего явления, не добраться до конца и начала. Концы и начала – это всё ещё пока для человека фантастическое». [Достоевский, 1981, 23, с. 145] Неведомое, невероятное, с трудом понимаемое потому, что является особой системой внутри общепринятой. Но стоит только прислушаться, и тайное становится явным. И это вечное познание. Для нас сейчас оно актуально, потому что мы еще только возвращаемся к нашим основам, утерянным и поруганным в период гонений на Церковь в XX-м веке. Было утеряно самое главное – православная основа жизненного уклада, – уклада, определяемого годовым, недельным и суточным укладом Церкви. Это было настолько обычно и понятно для тех людей, жизнь и сознание которых были сформированы и пропитаны церковным календарем и богослужением, и настолько непонятно и непривычно для нас, что мы не в состоянии правильно воспринимать и понимать ни жизнь того человека, ни культуру, ни художественную литературу без знания этих основ и богослужения в общем и частном. А освоить все это очень непросто. Поэтому надо говорить о любых

прозрениях новозаветного благодатного Слова. Но не все так печально, есть и положительное в нашем обращении к слову и обретении Его заново – оно в единстве *филологии* и *богословия*: при подходе к художественной литературе со стороны филологического знания, со стороны узнаваемого церковного обряда и православного богослужения, мы можем видеть красоту Слова извне, мы можем видеть какие-то скрытые творческие тонкости авторского мастерства при создании своих произведений, творческую мастерскую в частном и целом.

Начало литературы – буквально *записанного* Слова – как творчества Божественному творению, то есть само творчество – есть тайна и таинство. Значимость Слова связана с вечным Воскресением Христовым – Пасхой – и звучит началом первого зачала на Пасхальной литургии: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин 1:1). И далее содержание так называемого пролога Евангелия-апракос известно всем. Стих 14-й гласит: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины», – что означает воплощение Божественной полноты и Совершенство «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин 1:16-17). Почти так же названо древнерусское произведение середины XI века, начинающее русскую литературу – «Слово о законе, Моисеем даннем ему, и о благодати и истине, Иисус Христом бывшим, и како закон отиде, благодать же и истина всю землю исполни, и вера в вся простресея и до нашего языка русаго, и похвала кагану нашему Влодимеру, от него же крещении быхом, и молитва к Богу от всеа земля наша» митрополита Илариона. В самом названии уже видна содержательная форма этого прекрасного произведения, написанного по всем законам высокого искусства, основанного на гимнографии и являющее собой новое, оригинальное русское произведение – оно было написано специально для произнесения в храме, в присутствии великого князя Ярослава и его жены Ирины. Смысл и структура «Слова...», являясь частью богослужения, соотносятся с ним как в целом так и в каждой составляющей его части [Осокина, 2008, № 10]. Цельное, имеющее начало и конец, трехчастное – как и литургия, состоящее из молитвы, акафистного кондака, памяти и похвалы, антифона, канона, т.е. всех тех форм

поэзии, которые представлены в богослужении; устроено по принципу параллелизма – древнейшему поэтическому приему, представленному еще в псалмах. Этот поэтический принцип псалма использовался для создания тропарей и стихир – небольших гимнографических форм, используемых для создания более крупных – канона и кондака, причем структура малой формы, содержательно происходящая из важнейшей части литургии: суть – основа-образец – актуализация – цель-причастие.

В литературном произведении эти формы, будучи используемы как образец, реализуются несколько иначе, но с сохранением знакового смысла образца в соотнесении темы и структуры малых и больших форм. Развертывание тезиса, актуализация вплоть до реализации метафоры и фразеологического единства, повтор на разном формальном уровне – звука, слова, высказывания, текста, произведения. Для творчества Достоевского, которое все выстроено на основополагающих принципах православного богослужения, – это высокий смысл христианского служения через покаяние и причастие и формальные художественные приемы воплощения идеи – это параллелизм всех видов, амплификация, градация, характеризм, – всё это представлено в Комментарий к словарной статье в Словаре языка Достоевского (Идиоглоссарии) в зоне СЧТ2 в виде *фигур речи*.

Данное Богом и обретенное человеком во всей полноте Слово творческим началом автора начинает развертываться в словесную новую форму, достигая совершенства. Тогда авторское словесное искусство, в письменном своем виде получившее название «литература», записанное творение или *художественная литература*, достигает наивысшей точки, соединяя в себе вечную сущность и актуальное воплощение, и тем самым исполняя волю Бога Творца – Слово становится плотью, что есть совершенство, для художественной литературы – граница возможного, предел. «Но в том и великое, что тут тайна, – что мимоидущий лик земной и вечная истина соприкоснулись тут вместе. Пред правдой земною совершается действие вечной правды». («Братья Карамазовы». Из Жития старца Зосимы) [Достоевский, 1976, 14, с. 265].

Ф.М. Достоевского весьма занимала эта тема «исполнения миссии» принесения миру вести о спасении, о чем свидетельствуют его отметки в евангелии, бывшем с ним на каторге. Евангелие от

Иоанна, откуда это зачало, все испещрено его значками. И если «альфой» русской литературы можно считать «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона, то «омегой» – «пятикнижие» Достоевского, в том числе «Братьев Карамазовых», как завершающее его произведение, представляющих собой ту совершенную форму, после которой уже ничто не может быть, «что начало быть», а только что-то другое, новое.

При заявлении такого тезиса, возникает проблема его истинности и понимания этого. Между тем возможности понимания – «имеющий ухо да слышит» (Откр 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22) – ограничены нашей непросвещенностью. Необходимо быть в системе этих представлений, но тут возникает еще одна проблема – проблема абсурда – возможности понимания, но для этого и надо пытаться указывать на формальные, зримые, всем видимые доказательства.

Нет ничего удивительного в том, что в осмыслении больших по форме произведений Достоевского невозможно обойтись без терминологии Типикона [Мансветов, 1885] – принципов богослужебного устава, – ибо вне этой терминологии и понятий невозможно получить верное представление о том, что было сделано Достоевским, а именно: воплощение формы богослужения – суточного и годового, вмещающего в себя ритуал, слово и предание, – в литературно-художественную форму на уровне структуры, лексики и темы. [Осокина, 2008, № 13]

Говоря о терминологии типикона, я пытаюсь донести ту мысль, что невозможно адекватно говорить о феномене Достоевского иноязычными терминами советской литературоведческой школы. Есть другие слова, и они есть в типиконе, описывающем чин православного богослужения годового, недельного, суточного. Уже назывались работы, посвященные этой проблеме, и есть прекрасная диссертация иеромонаха Симеона (Томачинского) о «Выбранных местах...» Н.В. Гоголя [Симеон, 2009, с. 32], где только через великопостное недельное последование можно верно понять это не принятое современниками творение Гоголя, понять его структуру и содержание. Важно ставить вопрос или задание для правильного проникновения в сущность текста, напр., почему для «Сна смешного человека» и монолога Версилова в «Подростке» Достоевский выбирает в качестве основной тему не читаемого на

службе евангелия от Иакова 1:15-16? Оно читается в Западной церкви на 6-й рядовой неделе во вторник. И тогда выводы будут совсем другие, как и подход к изучению.

О православном подтексте и контексте, о присутствии литургических цитат в произведениях Достоевского уже говорилось в докладах и публикациях В.Н. Захарова, И.А. Есаулова, Т.А. Касаткиной, Ф.Б. Тарасова и других. И каждый, читающий так Достоевского, идет своим путем постижения Слова. И путь каждого своеобразен. Мое постижение идет от структуры богослужения, существующего не только как звучащее и зримое слово, но и как литературная форма, т.е. определенное последование различных составляющих богослужение поэтических произведений, в системе годового, недельного и суточного богослужебного круга, что формирует и наполняет особым смыслом произведение литературы, которое и воспринимать, и понимать надо во всей целокупности и взаимосвязанности этих частей и форм.

Круговая композиция тематически, хронографически и структурно соотносится с формой годового и суточного богослужения – это несомненно [Осокина, 2008, № 13].

Как Достоевский-художник превращает эту бесконечно варьируемую подвижную структуру, существующую в суточном и годовом времени, еще предстоит показать. Но некоторые приемы можно назвать и сейчас. Напр., повтор – основной структурообразующий прием на различных уровнях текста, заставляющий воспринимать текст разносторонне (в общем) и глубоко (в частном). Это параллелизмы на уровне звука, слова, синтагмы, периода, абзаца, произведения [Осокина, 2008, № 10].

Конечно, толкование Пятикнижия еще не исчерпано, и это трудная, но увлекательная работа. Но можно рассматривать и все художественное наследие Достоевского в едином целом, целокупности и всеохватности. Для этого необходимо перечитывать собрание сочинений уже с более полным жизненным знанием. При таком обратном ходе открываются невидимые прежде связи начала и конца, которые были предопределены в творчестве Достоевского. Так «Бедные люди», представившие писателя читателю, лексически и идейно связаны с «Записками из подполья» и «Подростком», повесть «Хозяйка» имеет повторы и

смысловое развертывание в тексте романа «Преступление и наказание», текст «Села Степанчикова...» погружает нас в атмосферу романа «Идиот», – и это далеко не все соотношения.

<p>Молодой человек, доживая срочное время, с сожалением думал о старом угле и досадовал на то, что приходилось оставить его: он был беден, а квартира была дорога. На другой же день после отъезда хозяйки он взял фуражку и пошел бродить по петербургским переулкам, высматривая все ярлычки, прибитые к воротам домов, и выбирая дом почернее, полюднее и <i>капитальнее</i>, в котором всего удобнее было найти требуемый угол у каких-нибудь бедных жильцов.</p> <p>Он уже долго искал, весьма прилежно, но скоро новые, почти незнакомые ощущения посетили его. Сначала рассеянно и небрежно, потом со вниманием, наконец с сильным любопытством стал он смотреть кругом себя. Толпа и уличная жизнь, шум, движение, новость предметов, новость положения – вся эта мелочная жизнь и <u>обыденная дребедень</u>, так давно наскучившая деловому и занятому петербургскому человеку, бесплодно, но хлопотливо всю жизнь свою</p>	<p>Не то чтоб он был так труслив и забит, совсем даже напротив; но с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию. Он до того углубился в себя и уединился от всех (молитвенное состояние), что боялся даже всякой встречи, не только встречи с хозяйкой. Он был задавлен бедностью; но даже стесненное положение перестало в последнее время тяготить его. <u>Насушными делами своими</u> он совсем перестал и не хотел заниматься.</p> <p>Никакой хозяйки, в сущности, он не боялся, что бы та ни замышляла против него. Но останавливаться на лестнице, слушать всякий взор про всю эту <u>обыденную дребедень</u>, до которой ему нет никакого дела, все эти <u>приставания о платеже, угрозы, жалобы, и при этом самому изворачиваться, извиняться, лгать</u>, – нет уж, лучше проскользнуть как-нибудь кошкой по лестнице и улизнуть, чтобы никто не видал.</p> <p>Впрочем, на этот раз страх</p>
---	---

отыскивающему средств умириться, стихнуть и успокоиться где-нибудь в теплом гнезде, добытом трудом, потом и разными другими средствами, – вся эта пошлая проза и скука возбудила в нем, напротив, какое-то тихо-радостное, светлое ощущение. Бледные щеки его стали покрываться легким румянцем, глаза заблестели как будто новой надеждой, и он с жадностью, широко стал вдыхать в себя холодный, свежий воздух. Ему сделалось необыкновенно легко.

Он всегда вел жизнь тихую, совершенно уединенную. Года три назад, получив свою ученую степень и став по возможности свободным, он пошел к одному старичку, которого доселе знал понаслышке, и долго ждал, покамест ливрейный камердинер согласился доложить о нем в другой раз. Потом он вошел в высокую, темную и пустынную залу, крайне скучную, как еще бывает в старинных, уцелевших от времени фамильных, барских домах, и увидел в ней старичка, увешанного орденами и украшенного сединой, друга

встречи с своею кредиторшей даже его самого поразил по выходе на улицу.

«На какое дело хочу покуситься и в то же время каких пустяков боюсь! – подумал он с странною улыбкой. – Гм... да... всё в руках человека, и всё-то он мимо носу проносит, единственно от одной трусости... это уж аксиома... Любопытно, чего люди больше всего боятся? Нового шага, нового собственного слова они больше всего боятся... А впрочем, я слишком много болтаю» [«Преступление и наказание». Достоевский, 1973, 6, с. 5].

<p>и сослуживца его отца и опекуна своего [«Хозяйка». Достоевский, 1972, 1, с. 264].</p>	
--	--

В «Преступлении и наказании» заявлен отход от Бога, что просматривается в самом начале, и связано это с «перевертыванием» молитвы «Отче наш» [Достоевский, 1973, 6, с. 5]:

<p>«Не то чтоб он был так труслив и забит, совсем даже напротив; но с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию. Он до того углубился в себя и уединился от всех [молитвенное состояние – Е.О.], что боялся даже всякой встречи, не только встречи с хозяйкой. Он был задавлен бедностью; но даже стесненное положение перестало в последнее время тяготить его. <u>Насушными делами своими</u> он совсем перестал и не хотел заниматься.</p> <p>Никакой хозяйки, в сущности, он не боялся, что бы та ни замышляла против него. Но останавливаться на лестнице, слушать всякий взор про всю эту <u>обыденную дребедень</u>, до которой ему нет никакого дела, все эти <u>приставания о платеже, угрозы, жалобы, и при этом самому изворачиваться, извиняться, лгать</u>, – нет уж,</p>	<p>Молитва «Отче наш» из евангелия Достоевского (Мф 6, 9-13):</p> <p>Отче нашъ, сущій на небесахъ!          Да святится имя Твое;          да будетъ воля Твоя, и на землі, какъ на небі;</p> <p>хлбъ нашъ <u>насушный</u> дай намъ</p> <p><u>на сей день</u>;          и прости намъ долги наши, какъ и мы прощаемъ должникамъ нашимъ;          и не предай насъ искушенію, но избавь насъ отъ лукаваго.</p> <p>Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во вѣки.          Аминь.</p>
---	--

<p>лучше проскользнуть как-нибудь кошкой по лестнице и улизнуть, чтобы никто не видал.</p> <p>Впрочем, на этот раз страх встречи с своею кредиторшей даже его самого поразил по выходе на улицу.</p> <p>«На какое дело хочешь покуситься и в то же время каких пустяков боюсь! – подумал он с странною улыбкой. – Гм... да... всё в руках человека, и всё-то он мимо носу пронесит, единственно от одной трусости... это уж аксиома... Любопытно, чего люди больше всего боятся? Нового шага, нового собственного слова они больше всего боятся... А впрочем, я слишком много болтаю». [«Преступление и наказание». Достоевский, 1973, 6, с. 5].</p>	
--	--

и к концу: «Я... я захотел *осмелиться* и убил... я только осмелиться захотел, Соня, вот вся причина! – О, молчите, молчите! – вскричала Соня, всплеснув руками. – От Бога вы отошли, и вас Бог поразил, дьяволу предал!..», и к концу: «Он [Раскольников] даже и не знал того, что новая жизнь не даром же ему достается, что ее надо еще дорого купить, заплатить за нее великим, будущим подвигом...» [Достоевский, 1973, 6, с. 321]. Эта тема проходит через все романы – Ид 453 [речь князя Мышкина у Епанчиных: И наши [русские – Е.О.] не просто становятся атеистами, а непременно *уверуют* в атеизм, как бы в новую веру, никак не замечая, что уверовали в нуль. Такова наша жажда! «Кто почвы под собой не имеет, тот и Бога не имеет» <...> Он [купец из старообрядцев – Е.О.] сказал: «Кто от родной земли отказался, тот и от Бога своего отказался». [хлыстовщина, нигилизм, иезуитизм, атеизм] <...> Покажите ему [русскому человеку

– Е.О.] в будущем обновление всего человечества и воскресение его, может быть, одною только русскою мыслью, русским Богом и Христом, и увидите, какой исполин могучий и правдивый, мудрый и кроткий вырастет перед изумленным миром <...>», Пд 375 [рассуждения Версилова], Тх 21-22 [исповедь Ставрогина]. В БКА чёрт воспроизводит слова Ивана Карамазова из статьи «Геологический переворот»: «[новые люди в Европе] полагают разрушить всё и начать с антропофагии. Глупцы, меня не спросились! По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело! <...> Раз человечество отречется поголовно от Бога <...>, то само собою, без антропофагии, падет всё прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит всё новое». В конце романа Дмитрий Карамазов перед вынесением приговора говорит: «Коли пощадите, коль отпустите – помолюсь за вас. Лучшим стану, слово даю, пред Богом его даю. А коль осудите – сам сломаю над головой моей шпагу, а, сломав, поцелую обломки! Но пощадите, не лишите меня Бога моего, знаю себя: возропшу!» [Достоевский, 1976, 15, с. 83].

Помимо таких соотнесений, есть еще представление о неизменных, повторяющихся темах и сюжетах, которые пронизывают все произведения и особым образом организуют структуру «пятикнижия». Это сюжеты, связанные:

- с незаконнорожденным героем,
- с погубленным ребенком,
- с насилием над девочкой,
- с красивой женщиной,
- с соержанством,
- со снами,
- с несостоявшимся или тайным браком,
- с подброшенным младенцем,
- с убийством и самоубийством,
- с поединком,
- с предательством,
- со смутой,
- со скандалом,
- с ложью,

- с деньгами и некоторыми другими темами.

Чин каждой службы имеет постоянную структуру и изменяемые части, что позволяет делать вставки больше или меньше, не нарушая целого. Но как только мы попытаемся что-то проанализировать поступательным путем, делая «срез», мы неизбежно столкнемся с упрощением этого многомерного следования до двухмерности синхронии или диахронии. Понимать можно или от частного к целому, или от целого к частному, но в целом.

Единая идея, соединяющая «пятикнижие» воедино, в одну большую форму, в одно последование, создает круговую форму. О наличии единой идеи для пяти произведений говорится в академическом ПСС в послесловии к «Братьям Карамазовым» [Достоевский, 1976, 15, с. 402-410, с. 411-415], где приведены фактические подтверждения единого замысла. Можно представить и наблюдения над лексиконом писателя. В текстах Достоевского во второй трети XIX в. базовая составляющая – а это вся библейская лексика – не воспринимается из-за своей естественности для сознания и культуры. Воспринимается и оценивается тот лексикон и те реалии, которые являются экстраординарными, выходящими за пределы христианско-православной основы – это бытовой, нигилистический, психологический, сниженный социальный пласт, формирующий представление о Достоевском как о бытовике-детектившике, психологе, реалисте, выставляющем напоказ все закоулки человеческой души, и т.д. Откуда же возникает такая оценка, как «пророк», с явной отсылкой к библейскому тексту? Дело в том, что Достоевский как настоящий мастер и «гений искусства» (по словам В.В. Набокова) направляет сознание пронизательных и обладающих знанием читателей к базовому для того времени тексту невербальными средствами, а именно:

1) сюжетом – интрига разворачивается вокруг и в связи с размышлениями об Истине и Христе;

2) структурой фразы – это фигуры речи: параллелизм, амплификация, парцелляция, характеризм и градация, – и структурой как одного произведения, где структура службы является основой для литературной формы, так и нескольких,

воспринимаемых в едином целом и соотносимых с богослужебными кругами.

Таким образом, создается основа двойственного восприятия читателем: поверхностный психологически-бытовой уровень, сквозь который видится глубинный, вечный, составляющий основу бытия. И эта двойственность восприятия закрепляется и передается в культуре от одной формы – другой. Это же способствует и формированию – при желании – двойственного облика и самого писателя. Но в вечном круге бытия, в Культуре и в сознании и душах просвещенных носителей своей культуры Достоевский всегда пророк и провозвестник Истины и Христа, певец человека – творения Божия.

Ф.М. Достоевский, используя в качестве структурообразующей богослужебную основу – в полноте ритуала, текста и предания – для своих произведений, исподволь обращает наше сознание к истинному истоку литературы и культуры. Главное – видеть, слышать и уметь просто сказать о главном. «В начале было Слово», и «Слово стало плотью» – вот это и есть пределы литературы, её «Альфа и Омега».

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

**Аверинцев, С.С.** Поэтика ранневизантийской литературы / С.С. Аверинцев. – М.: Наука, 1977. – 320 с.

**Бахтин, М.М.** Проблемы поэтики Достоевского / М.М. Бахтин // Бахтин М.М. Собр. соч.: в 7 т. Т.6. – М. Русские словари; Языки славянской культуры, 2002. – 800 с.

**Грифцов, Б.** Эстетический канон Достоевского / Б. Грифцов // Вопросы литературы. – 2005. – № 2. – С. 191-208.

**Евангелие Достоевского:** в 2 т. Т. 1. Личный экземпляр Нового Завета 1823 года издания, подаренный Ф.М. Достоевскому в Тобольске в январе 1850 года. – М.: Русский Миръ, 2010. – 656 с.

**Симеон, (Томачинский; перомонах).** Путеводитель к светлому Воскресению: Н.В. Гоголь и его «Выбранные места из переписки с друзьями» / Симеон. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. – 163 с.

**Лукин, В.А.** Кризис и текст / В.А. Лукин // Русское слово в русском мире – 2005: государство и государственность в языковом

сознании россиян / под ред. Ю.Н. Караулова и др. – М.: Моск. гос. лингв. ин-т, 2006. – С. 126-167.

**Мансветов, И.Д.** Церковный устав (типик). Его образование и судьба в греческой и русской церкви / И. Мансветов. – М.: Тип. Э. Лиснера и Ю. Романа, 1885. – 448 с.

**Мочульский, К.В.** Достоевский. Жизнь и творчество / К.В. Мочульский // Мочульский К. Н.В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. – М.: Республика, 1995. – С. 217-549.

**Набоков, В.** Федор Достоевский. 1821 – 1881 / В. Набоков // Набоков В. Лекции по русской литературе. – М.: Независимая газета, 1996. – С. 173-219.

**Достоевский, Ф.М.** Полное собрание сочинений: в 30 т. / Ф. М. Достоевский. – Л. Наука, 1972 – 1990.

**Никольский, К.** Пособие к изучению Устава Богослужения в Православной церкви / К. Никольский. – СПб.: Тип. Поповицкого, 1874. – 805 с.

**Осокина, Е.А.** Любить или не любить Достоевского (Наблюдения над чтением и восприятием текста) [Электронный ресурс] / Е.А. Осокина. – Режим доступа: [lenazar.narod.ru/article.html](http://lenazar.narod.ru/article.html). – Заглавие с экрана. 2005.

**Осокина, Е.А.** Еще раз о любви и нелюбви к Достоевскому. В. Набоков о Достоевском [Электронный ресурс] / Е.А. Осокина. – Режим доступа: [lenazar.narod.ru/article.html](http://lenazar.narod.ru/article.html). – Заглавие с экрана. 2006.

**Осокина, Е.А.** Место «Великого инквизитора» в круге пяти книг [Электронный ресурс] / Е.А. Осокина. – Режим доступа: [lenazar.narod.ru/article.html](http://lenazar.narod.ru/article.html). – Заглавие с экрана. 2008a.

**Осокина, Е.А.** Параллелизм: риторика или поэтика, проза или стих, особый прием или система? [Электронный ресурс] / Е.А. Осокина. – Режим доступа: [lenazar.narod.ru/article.html](http://lenazar.narod.ru/article.html). – Заглавие с экрана. 2008b.

**Словарь** языка Достоевского. Идиоглоссарий. Т. I. А – В / гл. ред. член-корр. РАН Ю.Н. Караулов. – М.: Азбуковник, 2008. – 962 с.

В.Н. Сузи<sup>1</sup>

*Петрозаводский государственный университет*

## ДОСТОЕВСКИЙ И ПРЕП. МАКСИМ ИСПОВЕДНИК

В статье рассматриваются святоотеческие истоки мировоззрения и творчества Достоевского. Ближе всех писателю по своим взглядам был Максим Исповедник, великий христианский экзистенциалист VII века.

**Ключевые слова, понятия:** Святые Отцы, экзистенциализм, вероучение, апокатастасис (всепрощение, всеобщее восстановление), христианская антропология, христоцентризм

V.N. Suzi

*Petrozavodsk State University*

## DOSTOEVSKY AND ST. MAXIM THE CONFESSOR

The article investigates the patristic sources of beliefs and works of the Dostoevsky. Most close to writer in their views was a Maxim the Confessor, largest Christian existentialist, the 7-th century.

**Key words, concepts:** The Holy Fathers, existentialism, faith, apokatastasis (forgiveness, universal restore), Christian anthropology, christocentrism

В современной достоевистике нередки попытки возвести взгляды писателя то к святому Франциску Ассизскому, то к визионеру Иоахиму Флорскому (осужденному самими же католиками), то к философу конца XIX века Николаю Федорову (весьма далекому от церковного Предания)<sup>2</sup>. Во всем этом есть

---

<sup>1</sup> Сузи Валерий Николаевич, доктор филологических наук, доцент кафедры русской литературы и журналистики ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» (г. Петрозаводск).

<sup>2</sup> Речь, в частности, идет о работах архим. Августина (Никитина), Влад. Котельникова, Анаст. Гачевой. С ними полемирую в кн.: Сузи, В. Подражание Христу в романной поэтике Достоевского. – Петрозаводск, ПетрГУ, 2008. – 192 с.

некий резон, в котором следует разобраться. Пока же такие попытки предстают несколько умозрительными, натянутыми, голословными.

Встречаются и резонные суждения о наличии, напр., в образе старца Зосимы параллелей с русскими подвижниками (прежде всего, с Амвросием Оптинским). Но и здесь требуется серьезное обоснование и конкретизация сути и форм воздействия названных исторических лиц на писателя (правда, в случае со старцем Амвросием сравнение выглядит исторически наиболее убедительно даже в самом первом рассмотрении).

Выскажу самое общее наблюдение от изучения данного вопроса: какие-то элементы облика западных святых в образе Зосимы, конечно, присутствуют, но весьма эпизодические и мимолетные, отдельными вкраплениями включенные в собирательный и в то же время целостный образ *православного* праведника-аскета. Если сводить мировоззрение гения к внешним влияниям, то с таким же успехом у него можно будет найти апологию скопчества, буддизма, ислама (попытки чего предпринимаются под современными фетишами толерантности, гуманности, релятивности истины, правомерности многообразия суждений и мнений и пр.), и только на том основании, что все эти моменты в той или иной форме встречаются в его творчестве.

При более детальном изучении вопроса выясняется, что названные элементы *косвенно* присутствуют у Достоевского *в качестве* идеологического *материала*, им *используемого*, но *отнюдь не апологизируемого*. Сбой восприятия заключается в сведении позиции автора к высказываниям того или иного героя; то есть, совершается грубейшая методологическая ошибка, присущая детски *наивному* читательскому восприятию: отождествление автора с его персонажем. Но, право, смешно по-школярски отождествлять используемый материал, вырывая его из художественно целого, с мировоззрением автора!

Тем не менее, серьезные порой исследователи поддаются обаянию умозрительной своей идеи, решению поставленной задачи: напр., найти в позиции автора элементы чужого мировоззрения. Найти и объяснить – это одно, это исследовательская задача; а вот свести одно к другому – это цель апологетическая, идеологическая, к автору имеющая косвенное

отношение. Последнее – больше говорит об исследователе, чем об исследуемом; и называется *подменой автора – собой, вчитыванием себя в него*.

Без сомнения, гораздо отчетливей в благообразных героях проступают черты чтимых писателем русских подвижников. Элементы западной святости присутствуют в его повествованиях, но скорее, в констатирующей, а часто и откровенно иронической, форме.

Такова, напр., лже-святость юродствующего не *во Христе*, а *себя ради* постника-изувера Ферапонта (ходили толки, что с ним «Святодух» говорит), сочетающего черты расколо-учителя Капитона (вопрос рассматривался мной в давней статье) и признаки учения то ли духоборов, то ли духовидцев-визионеров, последователей учения Иоахима Флорского о приближении эры Св. Духа, ставшего модным у нас на переломе эпох.

Отличительной чертой сектантства предстает неразборчивый в своем невежестве эклектизм; отсюда же крайний догматизм и исключительно утилитарный подход к святости, восполняющий ее недостаток искусственной экстазией и экзальтацией, заменяющей истинное богодухновение.

Сегодня вновь популярны утверждения об *апокатастасисе* Достоевского со ссылкой на популярного у воцерковляющихся филологов и начинающих богословов свт. Григория Нисского, с цитированием Записок старца Зосимы. Любая мода вызвана некритическим восприятием, дезориентирует в отношении вполне очевидных вещей.

Смешение, отождествление и подмены – общая черта незрелого или косного мышления, обращающего внимание на форму, но не вникающего в смысл явления. Чаще всего увлечение ересями и сектантством возникает в переходные, переломные эпохи, свидетельствуя о неблагополучии в состоянии общества, нездоровых явлениях в нем и болезненно протекающих процессах.

Думается, тему связи писателя с христианской патристикой следует уточнять и конкретизировать; но не в смысле выявления параллельных мест у св. Отцов и романиста (что, конечно, невозможно и нелепо), а в плане мировоззренческо-типологических связей его с конкретными лицами в патристике. Это необходимо и для того, чтобы пресечь беспочвенные спекуляции на поэтике и

взглядах автора, возводимых к ложным истокам.

В ходе разработки заявленной темы обнаруживается, что идейно и по типу личности Достоевскому наиболее близок непосредственно преп. Максим Исповедник, которого (а вовсе не свт. Григория Нисского, и уж тем более не позднейшего Сёрена Кьеркегора) следует считать *первым христианским экзистенциалистом*. Это касается прежде всего вопросов *эсхатологии, антропологии и психологии*. Безусловно, такое утверждение носит предварительный и постановочный характер в качестве *заявки* большой сложной темы.

Самый крепкий узел, связующий романиста с аскетом, это тема *апокатастасиса*. В восприятии темы воздаяния, возмездия, иномирной участи человека близость художника и богослова наиболее разительна. Это единый комплекс тем, идей, образов; главный пункт его – учение о человеке. Взгляды же писателя чаще всего отождествляют с позицией *отца отцов* свт. Григория Нисского, яркого церковного публициста, предшественника Максима Исповедника и наиболее талантливого ученика Оригена.

Как же произошло, что Григорий Нисский затмил в восприятии большинства глубокого и оригинального преп. Максима? Причем затмил настолько, что Святителем спекулятивно прикрывают сомнительные позиции и возникающие недоумения и споры. Авторитет Святителя был непререкаем в народных массах и даже среди его оппонентов. При том, что сам богослов популярности себе не искал. Так складывались обстоятельства.

Свт. Григорий с одной стороны – фигура ключевая, с другой – промежуточная, переходная. Младший брат Василия Великого, прекрасно образованный, начитанный в древней философии, общий любимец и верный ученик анафематствованного Оригена, он порой высказывал взгляды на грани ереси. Но, обладая тонким чутьем и вкусом, как сегодня сказали бы, политкорректностью, в ересь, подобно учителю, никогда не впадал и осуждению не подвергался. В его позиции порой находят рудименты оригенизма, но он всегда остается в пределах церковной догматики, а несовпадение с общей позицией предстает как теологумен, частное богословское мнение, допустимое, не нарушающее соборных Постановлений. Порой оно и оказывается вполне продуктивно, т.к. открывает новые горизонты для церковной мысли.

Но начать все же следует с Оригена. Поскольку во взглядах на историю у ряда св. Отцов сохранялись рудименты, возникали рецидивы античного циклизма, то у Оригена сложилось представление о конце истории, подобном ее началу, т.е. о возвращении всех существ в первоизданное состояние до падения человека. Апокатастасис он и понимал как восстановление мира в первоначальном виде.

Такому взгляду способствовало и учение Платона о предсуществовании душ, восходящее к буддизму. Это эманационное учение об истечении, рождении, выделении чистых субстанций из единой и цельной Первоосновы, неизбежно вело к мысли о реинкарнации, повторении во множестве телесных оболочек последовательно. Реинтеграция влечет за собой одну из своих форм – реинкарнацию. Другой ее формой предстает апокатастасис, и непременно всеобщее. С меньшим христианский гностик согласиться не мог.

Истоки общего спасения мира могли быть различны – космическое покаяние, в т.ч. и Сатаны (Ориген) или насилие Божией любовью личной воли (Предопределение римо-католиков), но результат един – возврат к истоку, всеобщая гармония. Воздаяние в этих условиях обретает условно-педагогический, временный характер устрашения, аллегоризма, присущей александрийско-эллинической школе. Евагрий Понтийский лишь радикализовал и систематизировал взгляды Оригена. Григорий Нисский, наиболее последовательный оригенист, отверг предсуществование душ, заявив, что человек создан одномоментно и целостно из абсолютного ничто, а не поэтапно и по частям – прибавлением к предвечной субстанции земного праха. Более того, для него, церковного епископа, Зло представлялось производным, итогом отпадения от Бога, повреждением, а не автономной субстанцией. И поскольку оно попущено в мир произволением Творца, экзистентно, а не онтично, то и обречено на окончательное поражение. Оно подлежит уничтожению возвратом в первоначальное состояние Ничто, или преображению, а носители его возврату к цельности. Так восстановление, по мысли Святителю, оказывается неизбежно!

Анафемаствование Юстинианом Оригена не затронуло его тезиса о восстановлении мира в дотелесном состоянии (что

открывало путь позднейшим спекуляциям на его мысли).

Апокатастасис наиболее тесно связан с антропологией, несводимой к эсхатологии, а скорее придающей ей и сотериологии тонус напряжения. С антропологии, т.е. соотношения категорий *образа* и *подобия*, и следует вести разговор. Ближе всего к Писанию их различие определил преп. Максим Исповедник.

Для него (в отличие от Григория Нисского) образ есть данность и первожданность лица, личности; подобие – потенция, актуализируемая, востребованная по падении. Образ статичен как цель и образец, но может быть искажен, поврежден; подобие – состояние динамическое, способность к изменению. *Образ* и *подобие* – неотъемлемый дар, стержень личности. Образ есть печать, характер лица, сквозь которое проступает Лик. В подобии доминирует воля человека, свобода ответственания, ответственности. В подобии выявляются двойственные истоки личности, двоеение воли. Здесь необходимо уточнить: Адам не создан смертным, он призван наследовать землю; через дар свободы в нем явлены две потенции – к бессмертию и к тлену (в потенции он был бессмертен; в данности – ни тленен, ни нетленен. Эту тему, урок, заданность он обязан был исполнить своим выбором). У Григория Нисского необходимость в Пасхе Христовой вызвана грехопадением. Выходит, Пасха и последующий Страшный суд – историческое «излишество», внесенные в Промысел происками Денницы.

У свт. Григория в силу превалирования данности над потенцией экзистенция парадоксально доминирует над онтичностью; горизонт потенций замкнут. Отсюда примат долженствования (коррелят ригоризма к природной необходимости) перед свободой, его духовный «позитивизм»; не решение, а разрубание узлов Божией волей как орудием (рудимент ягвизма как элемент неоплатоники и гностики). Григорий исходит из бессмертия человека как актуальной ему данности; зло в его системе предельно близко Благу, почти равно ему, едва ли не онтично. Оно устранимо лишь Произволением Божиим, то, что Августин назовет Предопределением (ягвистски личностным коррелятом Рока). На деле, по мнению большинства Отцов, начиная с Афанасия Великого, Боговоплощение входило в Замысел вне прямой связи с падением твари; *цель Его – не апокатастасис, а теозис.*

Афанасий Великий утверждал, что грехопадение и искупление лишь окрасило Боговоплощение в тона Драмы. Христоцентризм, определяющая категория и начало Благой вести, начинается с предвечного Троичного Совета о Теофании как средстве обожения человека, главной цели творения (задающей христианский телеологизм, «антропоцентризм», и даже антропокосмизм, Промысел о мире и человеке).

Максим Исповедник, отчетливо разделяя *образ* и *подобие*, перенес акцент с актуальности, с данности на за-данность, на потенции, открывал перспективу развития, раскрытия потенций, давал образ человека и мира в динамике, в кризисном становлении. Истоком его озарений о двух волях в человеке была полемика с монофелитами о природе и воле Богочеловеке. В отличие от монофелитов он полагал не только две природы, но соответственно – и две воли в Христе, выстраивая их в иерархическом соотношении, проецируя их на личность человека, сына Божия в потенции, по призванию, благодати. В христологии был осуществлен прорыв в христианскую (а не просто библейскую) антропологию. Исповедник в личности различает «природную» (первозданную, т.е., над-природную) волю и волю ущербную, гномическую (своеволие). Этого раздвоения нет в Христе, прообразе человека, Сыне Божиим по природе (сущности) и человеческом, с принятыми Им признаками тления, боли, слабости, без чего невозможно Искупление. Христом две природы и две воли (Божия и личная) приведены в единство, в соответствие с Божиим (Своим же) Промыслом. Без кровавого пота молитвы в Гефсимании выбор креста был бы порывом чувств, мечты. Отказ от креста обрек бы Его на муки души, неисполнения долга. Гномическая же воля проблемна, осуществляется в процессе реализации наличного выбора. Она может быть приведена в соответствие с «природной» волей, Божиим призванием; или противостоять им. Такая ее структура по общему воскресению (актуализации нерушимой связи с Творцом, пребывания в Нем) в конце времен ведет к тому, что нераскаившиеся души испытают муки ада от невозможности разрыва с Богом, с отвергнутой ими милостью, ставшей им в тягость. Эта мука Богоприсутствия станет нестерпима и неотменима: «будут просить смерти, но ее не получают» (по мысли старца Зосимы в романе). Это Сатана и бесы, в бессильной злобе

пьющие свою кровь и грызущие и плоть, свирепо питающие собой свою ненасытимую злобу, их мука – суррогат бессмертия, без искупления, без раскаяния, мнимое бытие, застревание в зоре, расщелине между жизнью и смертью. Может ли человек обречь себя на эту муку – большой вопрос. Но ему не дано стать бесом! И в этом, отчасти, скрыта его мука, горшая сатанинской, и в то же время сохранен шанс на спасение через покаяние. Доступ к Богу открыт, если дверь не заперта изнутри самим же грешником. Отвечает не Бог (Он предлагает), а избирает человек.

Исповедник выделяет два апокатастасиса: общее Воскресение и милость просящим, порой сводимых к «предопределенному» Прощению, вплоть до неизбежного Оправдания. Но Прощеное Воскресение – лишь просящим, для непросящих – иллюзия восстановления, повод к восстанию, нескончаемо бесплодному бунту. Преп. Максим нигде не говорит о милости нераскаянным. Таковы антропология, эсхатология, апокалиптика, «апокатастасис» Исповедника, близкие *исповеданию веры* Зосимы.

Сострадание человеку и миру – яркая черта и преп. Максима. Исповедник пишет: «Бог приводя в бытие разумную и духовную сущность, по высочайшей благодати своей сообщил ей четыре Божественные свойства, посредством которых Он содержит все вместе, оберегает и спасает сущих: бытие, приснобытие, благодать и премудрость. Первые два свойства [Бог] даровал премудрости, а два других – способности воли; то есть сущности Он даровал бытие и приснобытие, а способности воли – благодать и премудрость, чтобы тварь по причастию стала тем, чем Он Сам есть по существу. Поэтому и говорится, что человек создан по образу и по подобию Божию (Быт. 1; 26). «По образу» – как сущий [образ] Сущего и как присносущий [образ] Присносущего: хотя он и не безначален, но зато бесконечен. «По подобию» – как благой, [подобие] Благого и как премудрый, [подобие] Премудрого, будучи по благодати тем, чем [Бог является] по природе. Всякое разумное естество – по образу Божию, но только одни благие и мудрые – по подобию [Его]» [Максим Исповедник, 2004, с. 172].

В унисон Исповеднику звучат слова Зосимы: «О, есть и во аде пребывшие гордыми и свирепыми, несмотря уже на знание бесспорное и на созерцание правды неотразимой; есть страшные, приобщившиеся сатане и гордому духу его всецело. Для тех ад уже

---

добровольный и ненасытимый; те уже доброхотные мученики. Ибо сами проклинали себя, прокляв бога и жизнь. Злобною гордостью своею питаются, как если бы голодный в пустыне кровь собственную свою сосать из своего же тела начал. Но ненасытимы во веки веков и прощение отвергают, бога, зовущего их, проклинают. Бога живаго без ненависти созерцать не могут и требуют, чтобы не было бога жизни, чтоб уничтожил себя бог, и всё создание свое. И *будут гореть в огне гнева своего вечно, жаждать смерти и небытия. Но не получают смерти...*» [Достоевский, 1976, т. 14, с. 293; курсив мой – В.С.]

Где здесь отмена Суда и ада? Есть Христово упование, надежда на вхождение в *разум истины*, но нет *насилия любовью*. Даже метафора *бич любви*, принадлежащая Исааку Сирину, не помянута. Есть лишь горечь «страдания о том, что нельзя уже более любить» мир и Господа ответной любовью ибо *времени больше не будет*. А милость Господня вызывает сугубую муку – запоздалого раскаяния или бессильной ярости. Не зря воздаяние бессмертием во все времена считалось страшнейшим наказанием, на которое обрекал себя отпавший от Целого и Единого нераскаявшийся преступник. В то же время у Зосимы это не условно метафорический Суд и страдание пробудившейся совести, сведенные к секулярному морализму и педагогической мере, но ад как духовная реальность.

Смерть – дар единственный, исключительный: дважды не умирают и не воскресают ни физически, ни тем более духовно. Любой опыт единствен в своей уникальности. Вот символ веры Зосимы, диалектической глубиной и тонкостью прозрения достойный Отцов: «Да и отнять у них эту муку духовную невозможно, ибо мучение сие не внешнее, а внутри их. А если б и возможно было отнять, то, мысля, стали бы от того еще горше несчастными. Ибо хоть и простили бы их праведные из рая, созерцав муки их, и призвали бы их к себе, любя бесконечно, но тем самым им еще более бы приумножили мук, ибо возбудили бы в них еще сильнее пламень жажды ответной, деятельной и благодарной любви, которая уже невозможна. В робости сердца моего мысля однако же, что самое сознание сей невозможности послужило бы им, наконец, и к облегчению, ибо приняв любовь праведных с невозможностью воздать за нее, в покорности сей и в действии смирения сего, обрящут наконец как бы некий образ той

деятельной любви, которую, пренебрегли на земле, и как бы некое действие с нею сходное...» [Достоевский, 1976, т.14, с. 293].

К этому *опыту любви* сводится «апокатастасис» Достоевского и святых Отцов, прежде всего – Исаака Сирина (еще один святой, у которого находим элементы апокатастасиса; так его книга лежит на столе самоубийцы Смердякова), Симеона Нового Богослова, и затем уже – Григория Нисского.

Обобщая сказанное о соотношении русских писателей с Отцами Церкви, рискнул бы сопоставить со свт. Григорием Нисским своего любимого Тютчева, а с Сириянином – Гоголя. Параллели, конечно, условны, ведь *всякое сравнение хромает*. И тем не менее..! Кажется, в качестве рабочих гипотез такое уподобление весьма продуктивно, перспективно.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

**Достоевский, Ф.М.** Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 14. / Ф.М. Достоевский. – Л.: Наука, 1976. – 511 с.

**Максим Исповедник**, преп. Избранные творения / пер. и комментарии А.И. Сидорова. – М.: Паломникъ, 2004. – 494 с.

Р. С-И. Семькина<sup>1</sup>

*Алтайская академия экономики и права*

**ДВОЙНИЧЕСТВО В РОМАНЕ В. С. МАКАНИНА  
«АНДЕГРАУНД, ИЛИ ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»**

В. Маканин продолжает сложившуюся в русской литературе традицию стереоскопического изображения героя. Именно через сложную систему двойников и антиподов уточняется в романе «Андеграунд...» позиция протагониста романа как Героя времени.

**Ключевые слова:** двойничество, двойник, писатель, сверхчеловек, мотив, антипод.

R.S-I. Semykina

*Altai Academy of Economics and law*

**DUPLICITY IN V.S. MAKANIN'S NOVEL "UNDERGROUND,  
OR A HERO OF OUR TIME"**

V. Makanin continues the Russian literature tradition of a stereoscopic portrayal of a character. The position of the protagonist of the novel as the Hero of time is shown in the work «Underground» through the complicated system of doubles and antipodes.

**Key words:** duplicity, doubles, writer, superman, motif, antipodes.

В романе В.С. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» критики не раз отмечали наличие повторяющихся мотивов, возвращение к сходным ситуациям, к однотипным явлениям. Серия данных возвращений определяет кольцевое построение романа: главная рама кольца – почетное положение Петровича в общаге – в начале романа на свадьбе дочери Курнеевых – в конце на новоселье у тех же Курнеевых (а между тем

---

<sup>1</sup> Семькина Роза Сан-Иковна, доктор филологических наук, профессор Алтайской академии экономики и права (г. Барнаул), член Комиссии по изучению творческого наследия Ф.М. Достоевского Совета «История мировой культуры» РАН.

и другим было изгнание из общаги). Посещение брата Вени в психиатрической клинике дублируется пребыванием Петровича в той же клинике, но уже в качестве пациента. Встрече с успешным (перелицевавшимся) писателем Смоликовым соответствует позднее общение с преуспевающим Зыковым, первому контакту с бизнесменом Дуловым отвечает позднее другой контакт с Ловянниковым.

Кажется, что внешние параллели дают представление о циклической концепции времени, о невозможности каких-либо решающих перемен, все повторяется, все возвращается к хаосу. Но повторы служат не только и не столько мысли об остановившемся Времени. Да и не создается впечатление этой остановки: постоянные перемены совершаются в жизни общажников, озабоченных то приватизацией жилья, то возможностью торговать приватизированными «площадями». Да и отношение к Петровичу как к Писателю со временем тоже меняется.

Следует заметить, что возвращение к сходным, повторяющимся ситуациям – структурный прием, неоднократно использованный русской классикой, в том числе Ф.М. Достоевским и М.Ю. Лермонтовым. В «Преступлении и наказании» Раскольников трижды встречается с Соней и следователем Порфирием Петровичем, трижды ведет с ними диалоги-поединки. У Лермонтова в «Герое нашего времени» описана повторная встреча Печорина с Максимом Максимычем, завершающая часть романа, идущая от повествователя, и очень важная, значительная для характеристики Печорина.

У обоих русских классиков повторные встречи служат лучшему прояснению позиции персонажей, лучшему пониманию их читателем и самопознанию героев.

У Маканина также параллельные сцены и персонажи (двойники) обнажают в главном герое, который «с первого абзаца начал двоиться» [Немзер, 1998, с. 183] то, что поначалу могло показаться недосказанным, «двоющимся», «мерцающим» [Немзер, 1998, с. 183], обеспечивают стереоскопический способ характеристики героя, проникновения в его сознание и подсознание.

Двойники Петровича всегда представляют другие варианты его судьбы, несостоявшиеся возможности его биографии. Первым и главным двойником является его родной брат Веня. В отличие от

---

Петровича у него есть имя – не простое – а имя-символ, отсылающее к Вечному Веничке<sup>1</sup>, самой культовой фигуре русского андеграунда. Веня – гениальный художник, сломленный советским строем, распавшийся, потерявший себя в психушке. Человек не только редкой одаренности, но смелости, не побоявшийся открыто высмеять своего недалекого следователя-гебиста – и оттого оказавшийся «не столько в ловушке чьего-то доноса, сколько в ловушке своего собственного превосходства над людьми» [Маканин, 2002, с. 137], в ловушке своего «я».

Сюжет брата Вениамина возникает как контрапункт по отношению к сюжету Петровича, как другая, самостоятельная интрига, но «которая кажется откопированной на первой», обе они «создают игру двух противостоящих зеркал, посылающих друг другу одно и то же изображение» [E.M. de Vogue, 1906, с. 240-241]. Подобная взаимосвязь сюжетных линий – один из «законов композиции» Достоевского [Гроссман, 1959, с. 340-342], который «искал в этом раздвоении очень тонкий художественный прием, заимствованный у мастеров музыки: главная драма пробуждает вдали эхо; этот мелодический рисунок воспроизводит в оркестре голоса хора, раздающиеся на сцене. Это может напомнить и две нерасторжимые романические фабулы, которые создают игру двух противостоящих зеркал, посылающих друг другу одно и то же изображение» [E.M. de Vogue, 1906, с. 240-241].

Петрович воспринимает историю брата как возможный, нравственно пережитый им, вариант его собственной жизни.

Но и сюжет последних лет преуспевающего писателя Зыкова – тоже его возможный вариант. На первый взгляд может показаться, что их развел по разным сторонам простой случай: «Злые языки говорили, что мы с Зыковым стоим друг друга и что вся разница наших судеб в случайности признания и непризнания. В том, что однажды после совместной пьянки я опохмелился, а он нет. Случились вдруг западные корреспонденты (тогда еще, при цензуре

---

<sup>1</sup> «Венедикт Петрович в положении своего тезки, чье путешествие в блаженные Петушки завершается московской гибелью, жизнью в пространстве смерти (словно и не выходил он из подъезда близ Савеловского вокзала)» [Немзер, 1998, с. 190]

бегали за нами), они-то из нас двоих и выбрали для фото Зыкова как более изможденного ... меня, только-только опохмелившегося и благодушного, в газетах отвергли. (Зачем-де им счастливики брежневской поры)... Западные газеты на какую-то неделю запестрели фотографиями изможденного, плохо выглядевшего Зыкова, а тут как раз перестройка – совпало! – и тот час его в параллели стали издавать и там, и здесь» [Маканин, 2002, с. 437]. Разумеется, это не объясняет выбор ими разных путей в новое время, но показывает, что судьба Петровича, при известных его уступках и компромиссах, могла стать другой.

Зыков тоже относится к разряду бывших «агэшников», получивших теперь «пряник», обласканных властью. Но это серьезный двойник-антипод Петровича. Двойник потому, что он талантлив: «Злые языки говорили, что мы с Зыковым как прозаики стоим друг друга и что вся разница наших судеб в случайности признания и непризнания» [Маканин, 2002, с. 437]. Выше приводились рассуждения Петровича о том, что судьба Зыкова, успешно издающего теперь книги не только в России, но и за рубежом, могла бы стать и его судьбой. Их связывает не только память о времени андеграунда, но и все еще сохранившаяся и временами эфемерная щепетильность по поводу любой неприкосновенности к КГБ, к случайному доносу. Не случайно, глава о Зыкове, о встрече Петровича с ним носит «достоевское» наименование «Двойник». Но двойник предстает и полным антиподом. И эта игра в антиподы-двойники, контакты с антиподами, оказавшимися двойниками (Лужин, Свидригайлов) и с двойниками, оказавшимися противниками-антиподами (Соня Мармеладова) – важнейший композиционный принцип Ф.М. Достоевского, служащий в его произведениях выражением не прямой, но очевидной авторской позиции. Как антипод – писатель, порвавший с «подпольем», но испытывающий внутреннюю зависимость от андеграунда и даже ответственность перед ним, Зыков обнаруживает ту скрытую силу Петровича, которую дает ему чувство Героя-Писателя в условиях внешней самоизоляции от текущей литературы.

Эта сила – сознание своей нравственной власти (высоты) по отношению к любому искусству, творимому ради «пряника во рту». Петрович не просто выразитель общественного мнения,

осуждающего всякое литературное приспособленчество. Он – Писатель, сумевший до конца сберечь свою независимость, свое самостоятельное творческое «я». А только такой писатель, при наличии большого таланта, может стать создателем Большой Литературы. Зыков – тоже талантлив, но его сервиллизм, погоня за «пряником» ведут к измельчению таланта и потере личности: «Еще было крепкое перо, но уже не было прозы. Не было текстов. Гранитная крошка нового интеллигента, говорили про него, но и это бы ладно. Лицо – вот суть, у него уже не было лица» [Маканин, 2002, с. 437].

Однако Петрович не только защитник писательской личности. Его самоутверждение выстраивается на более широком – философском – основании. Он убежден, что развитие человечества осуществляется лишь через самоутверждение человека. Русская литературная классика XIX века, в особенности писатели 1870–1890-х годов (Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, В.М. Гаршин, А.П. Чехов) тоже утверждали, что нравственный уровень личности – основной двигатель истории. Но они настаивали на необходимости совершенствования, возрождения человека. Для Петровича самобытность личности ценность безусловная, говоря словами апостола индивидуализма Ницше, «мерой и средоточием для человека может быть только сам человек» [Цит. по: Хайдеггер]. А такая посылка ведет к культу сверхчеловека. Петрович, не претендуя, подобно Раскольникову, на идейную новизну, выступает, как и Раскольников, идеологом индивидуализма.

При встрече со Смоликовым – одним из перелицованных секретарей перелицованного Союза писателей определяется литературный статус Петровича: Смоликов считает его одним из самых талантливых современных писателей, удивляется, почему он не хочет печататься, и вместе с тем пытается использовать разговор с ним, чтобы потом, выступая на телевидении или радио, подзаработать «на подземных писательских тенях» [Маканин, 2002, с. 176]. Смоликов мелок и ничтожен, бездарен и продажен, карикатурен, как карикатурен у Достоевского Лебезятников, поклоняющийся модному нигилизму, и успех его мимолетен, и он втайне завидует настоящей силе агэшника.

Своеобразными двойниками Петровича являются «новые русские» – бизнесмены Дулов и Ловянников, которых он оценивает

с позиции самоутверждающейся личности, сознающей свое духовное превосходство над другими. И важно не то, что Дулов и Ловяников не выполняют своих «обещаний», один пытается, а другой прямо используя «порядочного» писателя в своих махинациях. Важна та «духовная разметка», которую устанавливает Петрович между ними и собой. Важно понимание своего преимущества перед новыми господами и, разумеется, «другими», теми, кто им прислуживает (по-горьковски – «Дулычев и другие» – названа одна из глав). Дулов и Ловяников интересуют Петровича как люди, сумевшие обрести свое «я», обрести настоящую власть. Власть эту обеспечили им новые социальные условия: «Купцу сделали искусственное дыхание, и вот он легко и сразу заокал, после того как семьдесят лет провалился на дне глубокой воды» [Маканин, 2002, с. 186]. Важно, как он пользуется этой властью. Об этом говорят ситуации, в которых представлены господа бизнесмены. Дулов, как старый горьковский купчик (которому даже внешне подражает, по-волжски окая), широко пользуется благами, доставленными ему долларами и рублями. И хотя он умен и порой интеллигентен, вглядываясь в его «духовную начинку», «в его столь стремительное развитие в тип», Петрович приходит к выводу, что это «старый типаж нового кроя». С этой сильной личностью его «я» никак не состыкуется: «Наши судьбы бесшумно отъезжали друг от друга» [Маканин, 2002, с. 186]. Здесь ни о каком притяжении-двойничестве не могло быть и речи.

Другое дело Ловяников – «герой Вашего времени», столкновение с которым – демонстрация того, что в Петровиче жива та же волевая закваска, что в преуспевающих ныне бизнесменах, только время вынудило его по-другому проявить эту волю.

А. Немзер полагает, что Маканин «открывает в удачливом жулике очередного двойника героя подлинного («Даром, что ли, углядела общага в Петровиче страшного приватизатора? Даром ли именно его ввел в свою квартирную игру Ловяников?») [Немзер, 1998, с. 187]. Да, Ловяников в некотором смысле двойник Петровича (и это сознает сам «агэшник»). Но вовсе не как приватизатор, несмотря на то, что именно в этой функции он нужен Ловяникову. Ловяников обманул Петровича ложной дарственной на квартиру, но вызвал в нем в итоге не гнев и обиду, а удивление

ловкостью и целеустремленностью. Более того, Петрович в удачной борьбе Ловянникова за квартиру увидел тот же стимул, которым постоянно определялись и его поступки: «Не алчность вела и не деньги отстоял Ловянников, вот что я увидел – он отстоял самого себя <...> Я бился за свое “я” – Ловянников за свое. И стало понятным его упорство: человек бился до конца. А поражение от всех этих сусниных его оскорбляло» [Маканин, 2002, с. 422]. И Ловянников понимает, что способность отстоять свое «я» – главное в Петровиче: «Выбранная своя жизнь – чего же еще?» [Маканин, 2002, с. 410]. Петрович для Ловянникова – действительный герой уходящего времени – времени, когда тон жизни задавало поколение литературное – «солдаты литературы, армия: себя он относит уже к новому поколению – поколению политиков и бизнесменов – солдат дела и денег. Он герой нового времени. И Петрович принимает таких героев, называя их «молодые бизнесмены своих судеб» [Маканин, 2002, с. 424]. Правда, Петровича задевает то, что они идут вперед, не оглядываясь, и пытаются «жить без Слова» [Маканин, 2002, с. 408].

У Ф.М. Достоевского двойники несут более разнообразные функции: так, двойники Раскольникова – «овеществленные проекции его души» (П. Вайль, А. Генис) – Лужин и Свидригайлов – доводят до крайности его идеи. Двойник Ивана Карамазова Смердяков – воплощение всего гадкого, низкого, что накопилось в душе мыслителя (Ивана). Двойник Голядкина – выражение «иных» стремлений его души. Впрочем, Н.Г. Михновец заметила, что Голядкин второй – это возможный не реализованный вариант его судьбы» [Михновец, 2004, с. 121].

Сопоставление Петровича с Ловянниковым – прямая манифестация о связи Времени – линейного и кругового. Да, в жизни совершаются важные перемены – новые герои времени уже не уходят в подполье, а властвуют наверху, но ведущим мотивом их деятельности все же остается самоутверждение. В последних главах романа не случайно умирают лучшие друзья, тоже двойники Петровича – Вик Викич и Михаил, их кончины – знак вымирающего поколения «агэшников». Петрович тоже оказывался на краю гибели – чах от голода и тяжелой болезни, но сумел восстановиться, буквально возродиться физически и вернуть себе прежнюю волю к жизни. Примечательна сцена, когда, ощутив

прежнее здоровье, он увидел своего двойника в зеркале: «Поджарый, можно сказать, худой, худощавый господин, уверенный в движениях и уверенный в себе, лишь несколько взлохмаченный (я как раз причесывался), – этот господин с седыми усами, с седыми висками стоял передо мной. «Вот ведь каков!» – в третьем лице отозвался я о том, кого увидел. Меня удивило лицо, столь сильно определившееся в своем желании жить, – лицо, сложившееся, сгруппировавшееся в независимые уже от меня черты житейской энергии и ярости. Я даже ахнул» [Маканин, 2002, с. 400]. Героя даже смутила эта «показная ярость» и «твердость чувств на уверенном лице, в то время как уверенности и прежней твердости (как я знал) пока что не было, ничего не было, ноль. Мимикрия. Чтобы жить. Только и всего, чтобы жить и выжить. Но господин мне понравился. Уверенный и хорошо стоящий на ногах, знающий и про время на дворе, и про свой час» [Маканин, 2002, с. 400].

Так, отношения Петровича с писателями Смоликовым и Зыковым, с одной стороны, и бизнесменами Дуловым и Ловянниковым – с другой, уточняют позицию протагониста романа как Героя времени.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

**Гроссман, Л.П.** Достоевский – художник / Л.П. Гроссман // Творчество Достоевского / отв. ред. Н.Л. Степанов, Д.Д. Благой и др. – М.: АН СССР, 1959. – С. 340-342.

**Маканин, В.С.** «Андеграунд, или Герой нашего времени» / В.С. Маканин. – М.: «Вагриус», 2003. – 480.

**Михновец, Н.Г.** «Двойник» в историко-литературной перспективе / Н.Г. Михновец // Достоевский и мировая культура. Альманах № 20. – СПб.: Серебряный век, 2004. С. 105-131.

**Немзер, А.** Когда? Где? Кто? О романе В. Маканина: опыт краткого путеводителя / А. Немзер // Новый мир. – 1998. – № 10. – С. 180-187.

**Vogue, E.M. de.** Le roman russe / E.M. de Vogue. – Paris, 1906. – 260 p.

**Хайдеггер, М.** Европейский нигилизм [Электронный ресурс] / М. Хайдеггер. – Режим доступа: <http://www.nietzsche.ru/look/xxa/europa-nigilism/?curPos=1>. –

Заглавие с экрана.

**Вайль, П., Генис, А.** Страшный суд. Достоевский [Электронный ресурс] / П. Вайль, А. Генис. – Режим доступа: <http://www.ruslibrary.ru/default.asp?trID=379>. – Заглавие с экрана.

## ЛИНГВИСТИКА

Г.В. Кусов<sup>1</sup>

*Кубанский государственный технологический университет*

### ДИАГНОСТИКА КВАЛИФИЦИРУЮЩЕГО ПРИЗНАКА «НЕПРИЛИЧНАЯ ФОРМА» В СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

В статье осуществлена попытка описания «неприличной формы выражения» как одного из квалифицирующих признаков оскорбления. Неприличная форма рассматривается в лингвистическом и юридическом аспектах. Предлагается решение проблемы квалификации неприличной формы при помощи понятий «коммуникативная мишень», «вербальная платформа коммуникативной мишени».

**Ключевые слова:** оскорбление, неприличная форма, лингвистическая экспертиза, коммуникативная мишень

**G.V. Kusov**

*Krasnodar state technical university*

### DIAGNOSING THE INDICATORS OF INDECENCY IN LINGUISTIC EXPRESSIONS IN FORENSIC EXAMINATION

The article is an attempt to define «indecent form speech» as a categorizing indicator of offence. Indecent form of expression is considered by the author purely linguistically and legally. To qualify indecency of expression is proposed on the basis of such concepts as «communicative target», «verbal platform of communication platform».

**Key words:** affront, an indicent form of expression, linguistic expertise, communication target

---

<sup>1</sup> Кусов Геннадий Владимирович, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры социологии и правопедения Кубанского государственного технологического университета (г. Краснодар).

Научно-исследовательский характер экспертной деятельности предопределяет необходимость поиска путей решения проблем, связанных с построением методологии на основании общенаучных принципов и оценки качества получаемого с ее помощью знания. Судебно-лингвистическая экспертиза является одной из главных форм использования возможностей современного языкознания при отправлении правосудия, поэтому одно из лингвистических «измерений» конфликтного текста, представленного для дачи экспертного заключения, обязательно должно подтверждаться дополнительными измерениями с целью создания полной картины проведенного исследования. Релевалентность данных, полученных из разных источников, подтверждает надежность методологического подхода к решению поставленной проблемы.

Практикующие юристы подчеркивают субъективность и размытость правового дефинирования оскорбления. «...Даже при наличии определения этого понятия в законодательстве оно остается субъективным, причем, так сказать, в квадрате: субъективно понятие унижения чести и достоинства и субъективно <...> понятие «неприличная форма» [Горбаневский, 1997, с. 5]. Сложная ситуация создается, когда законодатель при кодификации норм использует оценочные понятия. Свойства, признаки, детали правовых явлений, фиксируемых оценочными понятиями, в отличие от остальных (неоценочных [Жеребкин, 1976, с. 129], формально-определенных [Власенко, 1997, с. 162]) понятий, подробно не разъясняются законодателем, а оцениваются и конкретизируются субъектами, исходя из эталонов правосознания, практики, нравственности, обычаев. Это самые сложные понятия, так как их содержание нельзя определить однозначно, поскольку их смысл и значение могут зависеть от конкретной обстановки [Головина, 1997, с. 106]. В.Е. Жеребкин рассматривает их как понятия, *неопределяемые* в законе, теории или судебной практике [Жеребкин, 1980, с. 29]. По словам Т.В. Кашаниной, «...законодатель может нормативно закрепить стандарт того или иного оценочного понятия, зафиксировав существенные признаки последнего. Понятие в этом случае *перестает быть оценочным*» [Кашанина, 1975, с. 8]. Таким образом, специфика оценочных понятий права – это *отсутствие у них легальных дефиниций*. Еще одна сторона правового аспекта определения оценочных понятий – юридическая строгость,

предполагающая максимальную однозначность ответа.

При осуществлении лингвистической экспертизы по делам об оскорблении, защите чести, достоинства и деловой репутации (оскорбительное мнение) важное значение имеет точное лингвистическое определение понятия «*неприличная форма*» высказывания, которое является одной из важнейших составляющих частей правовой квалификации оскорбления: оскорбление – «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в *неприличной форме*» (статья 5.61 КоАП РФ / статья 130 УК РФ утратила силу с 8.12.2011 г.). Понятия неприличная лексика, неприличная форма выражения, нецензурная лексика, ненормативная лексика, грубая лексика, вульгарная лексика, инвективная лексика, используемые как в обыденном словоупотреблении, так и в лингвистической и юридической литературе, требуют уточнения применительно к бытовому, лингвистическому и юридическому пониманию, поскольку указанные формы отражения не совпадают. Для обыденного (бытового) и юридического аспекта проблемы важен морально-этический аспект анализа: понятия приличие, неприличие лежат в морально-этической плоскости общественного сознания. Поэтому классификация лексики и фразеологии на приличную и неприличную носит именно морально-этический характер. Для лингвистики важен языковой аспект проблемы: какими объективными языковыми характеристиками, семантическими и функциональными особенностями должна обладать та или иная лексическая или фразеологическая единица, чтобы можно было определить ее статус как нецензурной, грубой, неприличной. Морально-этический анализ словоупотребления должен основываться на объективном лексико-семантическом, то есть собственно лингвистическом анализе.

Ученые-лингвисты попытались создать на основе термина «*инвектива*» (В.И. Жельвис определил инвективу как «такой способ осуществления вербальной агрессии, который воспринимается в данной семиотической группе как резкий или табуированный» [Жельвис, 2001, с. 16]) классификацию инвективной лексики с целью определения границ ее бытования в дискурсе «словесное оскорбление»: 1) определение степени оскорбительности инвективной лексики по различным основаниям

(пометы словарей, общий экспрессивный и эмоциональный фон лексических единиц (К.М. Шилихина); 2) создание шкалированного юрислингвистического словаря (Н.Д. Голев); 3) «коммуникативная перверсия» – определение степени социальной отчужденности: а) социально нежелательное (смятение); б) социально неприемлемое (неприязнь); в) социально отторгаемое (недопустимое, утрата доверия) (Г.В. Кусов). В настоящее время в лингвистической науке не существует точного и однозначного определения исследуемого понятия. Инвектива – *это резкое выступление против кого-либо, чего-либо, обличение, оскорбительная речь* [Пищальникова, 2005, с. 154]. Инвектива – сознательное оскорбление, выраженное различными языковыми средствами, нарушающее ценности другого человека и имеющее мотив намеренно его оскорбить или унижить [Семенова, 2010, с. 1].

Ситуация, сложившаяся в современной речевой коммуникации, убеждает в том, что проблема квалификации употребления слов и выражений инвективного характера как оскорблений значительно осложняется рядом процессов: 1) усиливающейся размытостью границ и составом самой инвективной лексики, поскольку в ее сферу проникают жаргонные, просторечные, вообще маргинальные, внелитературные слова и выражения; 2) неустойчивостью, нестабильностью и динамичностью негативно-оценочных коннотаций единиц в зависимости от контекста функциональной сферы употребления; 3) расширением ситуаций общения, изменением характера речевых ситуаций (от межличностной к массовой коммуникации); 4) процессами детабуизации инвективной лексики, наблюдаемой в последние годы в печати, в электронных СМИ, на страницах художественной литературы.

К.И. Бринев при ответе на вопрос «Существует ли в русском языке (на уровне кода) эмическая единица, позволяющая отождествлять различные фрагменты речевых произведений как приличные или неприличные?» замечает, что «в области приличной и неприличной формы нет инвариантных форм. Это говорит о том, что данное противопоставление не принадлежит коду русского языка» [Бринев, 2010, с. 25].

Не всякая вербальная агрессия может вызвать эффект искажения социального портрета личности в общественном

восприятию. Напр., инвектива, произнесенная для выражения своего внутреннего состояния, не может нанести вред социальной значимости другого лица. Но речевая единица, которая в своем прагматическом выражении опирается на систему социальных стереотипов осуждаемого поведения, автоматически включается во взаимодействие социальных субъективных оценок и изменяет сложившийся социальный портрет адресата. Адресная негативная информация о лице создает предпосылки образования в сознании окружающих его людей нового образа, который будет отличаться от первоначального своим искаженным или «извращенным» видом (ср., лат. *perverto* – губить, портить, извращать). Таким образом, при адресной направленности вербальной агрессии и ее способности понизить социальную привлекательность личности можно говорить о том, что лицо подверглось насилию в виде коммуникативной перверсии.

Е.И. Галяшина замечает, что «не менее сложен вопрос о том, как определить силу воздействия информации – степень ее влияния на сознание и поведение с учетом интенсивности эмоциональной окраски текста» [Галяшина, 2006, с. 48].

М.Л. Степко при анализе научной литературы по вербальной агрессии приводит следующие слова: «Наиболее подходящим нам представляется определение границ «инвектива», которое дает Г.В. Кусов для характеристики лингвокультурного концепта «оскорбление». Исследователь вводит термин «коммуникативной перверсии», ... который означает «вывод из прагматики содержания текста, выражающего намерение автора высказывания создать восприятие образа лица на основе системы вербализованных субъективных социальных оценок» [Степко, 2007, с. 2].

«Создание терминологического аппарата описания инвективы еще признается в качестве цели лингвистического теоретического изучения (Г.В. Кусов), вероятно, при этом предполагается, что «переназывание» фактов другими словами способно решить реальные теоретические проблемы», поэтому К.И. Бринев настаивает на мнении, что «создание терминологического аппарата не имеет слишком большого значения, оно (создание) является в лучшем случае побочным продуктом решения реальных описательных проблем, так как термин – всего лишь удобное

средство, служащее для сокращения научного текста» [Бринев, 2010, с. 9].

Юридические свойства концепта «оскорбление» заключаются в его способности представлять некий объем правовой информации, символизм которой отражен в языковых формулах в виде понятийной, семантической и аксиологической составляющей.

Почему же экспертные оценки не всегда дают однозначный результат? С одной стороны, существует ряд объективных причин: отсутствие правил проведения лингвистической экспертизы, недостаточная развитость теоретического аппарата (дефиниционной составляющей) осмысления предмета описания «плоскости» пересечения семантического поля лингвокультуры и диспозиции правовой нормы.

На сегодняшний день теория судебной лингвистической экспертизы определяет «неприличную форму» оскорбления (*оценку оценки*) как крайне негативную обобщенную характеристику лица в случае употребления ненормативной лексики (мата, грубой и обценной лексики), то есть инвективной лексики.

Инвективную лексику и фразеологию составляют слова и выражения, заключающие в своей семантике, экспрессивной окраске и оценке оскорбление личности адресата, интенцию говорящего или пишущего унизить, оскорбить, опорочить адресата своей речью или объекта оскорбления, обычно сопровождаемую намерением сделать это в как можно более уничижительной, резкой, грубой или циничной форме (реже используются приемы скрытых оскорблений, напр., применение эвфемизмов или вполне литературных сравнений, что однако не снижает экспрессивности и эмоциональности речи).

Основная часть инвективной лексики и фразеологии состоит из лексики бранной, относящейся отчасти к диалектам, но главным образом, к просторечию, а также к жаргонам, и характеризуется грубо вульгарной экспрессивной окраской, резко негативной оценкой, чаще всего циничного характера. Например: говнюк, гад ползучий, дерьмо, засранец, падла, обалдуй, сука сраная.

Значительное место в инвективной лексике занимает часть бранной лексики, которая относится к табуированным словам и словосочетаниям, то есть к мату (блядь, долбо...б, ...барь, жопа (перен.), курва, манда, мандавошка, мудак, мудила, муда...б, п...зда

(перен.), п...здук и другие производные, хер (перен.), х...й (перен.) и производные, х...й на палочке, х...й (хер) моржовый).

Среди инвективной лексики есть и известная часть бранных слов и словосочетаний, входящих в литературный язык. Они относятся к разговорной речи, к разным ее пластам. В основном это слова и словосочетания, принадлежащие периферийным пластам разговорной речи, граничащим с просторечием и жаргонами. Такого рода слова и словосочетания в своем большинстве образуют так называемую грубо просторечную лексику – «нижний» разряд разговорной лексики литературного языка (девка – о распутной женщине, проститутке, гад (перен.), гаденыш (перен.), гадина, гнида (перен.), подлый, подлюга, сволочь, скотина (перен.), стерва, сукин сын, старый хрен, хамово отродье). Все эти и подобные слова в современных толковых словарях характеризуются как «бранные», «грубые» или «презрительные».

В разряд инвективной лексики входят также слова, относящиеся к разговорно-обиходной лексике (мерзавец, поганый, сброд, свинья (перен.), хам, хамье, ханжа).

В рамках «литературной» инвективной лексики тоже есть различные группы. Во-первых, это книжная лексика с инвективным значением (мошенник, алкоголик, проститутка), при использовании которой может возникнуть состав клеветы, так как при прямой номинации человека происходит его обвинение (констатирование факта) в нарушении законодательства или норм общественной морали (диспозиции статей 5.60 «Клевета», 17.16 «Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя» КоАП РФ). Во-вторых, это эвфемизмы для подобных слов, «шадящие» адресата, но на самом деле несущие такую же инвективную нагрузку («дама легкого поведения»). В-третьих, это переносное, метафорическое употребление таких слов («политическая проститутка»), которое чаще связано с оскорблением. В-четвертых, в литературном языке есть группа слов констатирующей инвективной семантики – «конченная стерва», «мерзавец», «подонок». Поэтому в обобщенном виде под инвективной лексикой подразумевается лексика, оказывающая влияние на понижение социальной привлекательности личности в ее собственных глазах, а также в глазах общественности

(отрицание общественной значимости).

Таким образом, коннотативное значение «ненормативной лексики» и фразеологии связано с эффектом оскорбления, вызванного употреблением стилистически-нормированной лексики, в части прямой вовлеченности «нестандартного» и «субстандартного» [Костер-Тома, 1993, с. 16] слов в причинение «оскорбления», которое представляется в обыденном сознании как негативное социальное явление. Нарушение нормы или отклонение от нормы в речи при инвективном словоупотреблении возникает вследствие стилистической неоправданности выбора языковых средств. Оскорбление в таком понимании включает в себя закрепленные ранее этносоциальные связи, извлекаемые из семантической структуры слова. Однако в обыденном сознании оскорбление воспринимается не на основе точного знания правовой нормы, а на предположении, что речевое событие должно быть квалифицировано как «оскорбление», так как в языковом сознании оно интерпретируется как таковое в сравнении с отступлением от обычного стандарта (литературного языка), который установился в данной этносоциальной среде. Поэтому индивидуальное восприятие оскорбления зависит от принадлежности реципиента к той или иной социальной группе. Коннотативное поле оскорбления в языке отмечено индивидуальной интерпретацией речевого действия на основе личностных представлений о допустимом и возможном речевом поведении.

Искусственность лингвистического противопоставления нормативно/ненормативно становится критерием недостаточности и неполноты при правовой квалификации конфликтного высказывания как оскорбления. В силу этих причин в праве получили закрепление другие виды оценки оскорбительности: посягательство на естественные права человека – доброе имя, честь и достоинство, деловую репутацию.

Таким образом, термин «ненормативная лексика» (под «ненормативной лексикой» подразумевается инвективная лексика и фразеология) получил двойное толкование в лингвистике и в правоведении:

1. В правоприменении к «ненормативной» относят лексику, которая отображает тот слой языка, разряд слов и выражений, употребление которых в речи нарушает нормы общественной морали, общепринятые в данном социуме представления о

приличии/неприличии, и квалифицируется как «оскорбление», так как образует состав преступления или административного правонарушения (статьи 297, 319 УК РФ; 5.61 КоАП РФ).

В этот разряд слов и выражений входят, с одной стороны, лексико-фразеологические единицы из «внелитературной» сферы русского национального языка, так как они находятся вне сферы действия норм литературного языка (блядь, потаскуха); с другой стороны, слова и выражения, принадлежащие литературному языку, то есть «нормированные» (негодяй, подлец, мерзавец).

2. В лингвистике «ненормативной» называют лексику (и любые другие языковые единицы), которая не относится к литературному языку, почему она и получила синонимичное название «некодифицированной» лексики, то есть не представленной в «прескриптивных грамматиках и нормативных словарях» [Костер-Тома, 1993, с. 15]. Это слова из просторечий, жаргонов, диалектов (говно, жопа, быдло, рожа). На них не распространяется действие норм литературного языка, литературной речи. Лингвистическое понимание «нормативности/ненормативности лексики» исходит из признания барьера, дозволенного рамками литературного языка и недозволенного, изучение которого старались избегать до некоторого времени ввиду отрицательности языкового материала [Караулов 1991, с. 4]. Хотя некодифицированная лексика оказывает значительное влияние на развитие этнических стереотипов речевого поведения и на систему ценностных ориентиров складывающихся в обществе.

Предположение наступления эффекта коммуникативной перверсии (покушение на социальную привлекательность) вызывает у реципиента желание незамедлительно начать восстановление утраченной значимости при помощи норм социального контроля, так как в русской лингвокультуре сложился устойчивый стереотип мышления, что *афиширование адресной негативной информации равносильно разоблачению*. Пример: Анна Чапман пригрозила судом организаторам «Серебряной калоши» за упоминание ее имени на вручении премии в номинации «Промоушенничество года» (Газета «Жизнь» № 26, 29.06-05.07.11). Эффект коммуникативной перверсии препятствует апреляции, под которой понимается стремление человека к достижению успеха и признанию его и доброго имени в обществе с целью установления

и поддержания социокультурных взаимоотношений.

Конечно, вопрос классификации упрощает проведение диагностических задач введением *допустимого условия* научного исследования: напр., «На разрешение экспертизы наркотических и психотропных средств выносятся следующие вопросы диагностического характера: является ли данное вещество наркосодержащим средством? к какой группе средств оно относится? каким именно наркотическим средством оно является?» [Россинская, Галяшина, 2011, с. 298]. Экспертиза «наркотического средства» – это, прежде всего, определение формулы химического состава и сравнение полученного результата с «Перечнем наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденным подзаконным нормативным актом на уровне Постановления Правительства РФ [Пост. Правительства РФ]. Постановление Правительства РФ «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» по отношению к судебной экспертизе наркотических средств и психотропных веществ является *допустимым условием*.

При интерпретации оскорбительности в вопросно-ответной конструкции Е.Р. Россинская вводит допустимое исследовательское *условие*: «Какие типы лексики современного русского языка относятся к оскорбительной лексике?», чтобы эксперт смог сразу ответить на второй вопрос «Содержатся ли в предложении (цитате) слова, словосочетания или фразы, относящиеся к одному или нескольким типам оскорбительной лексики?» [Россинская, 2011, с. 389]. Исходя из определения предмета экспертизы, под которым понимается «установление фактов (фактических данных), суждений о факте, имеющих значение для уголовного, гражданского, арбитражного дела либо дел об административных правонарушениях, путем исследования объектов экспертизы, являющихся материальными носителями информации о происшедшем событии» [Аверьянова, 2009, с. 77], напрашивается только одно следствие, что никакая классификация оскорбительной лексики не является материальным носителем информации о происшедшем событии. На сегодняшний день существует около десятка различных классификаций корпуса

«оскорбительной лексики». Аргументированных доводов, почему именно предлагается за основу та или иная классификация, в указанных работах не приводится. Общепринятой методологической концепции трактовки «негативного» словесного знака в контексте правового поля нет [Черкасова, 2011, с. 87].

Собственно лингвистическая и правовая контаминация «ненормативной» лексики происходит вследствие многофункциональности этого слоя русского языка. Практически в лингвистике «ненормативная» (инвективная) лексика выполняет кроме «оскорбительной», как указывает В.И. Жельвис, еще 21 функцию: напр., средство установления контакта, средство установления «корпоративного духа» общающихся, средство самоуничижения, средство демонстрации «социальной свободы», нарративное средство, средство передачи противника во власть злых сил, средство демонстрации половой принадлежности, эсхрологическая функция, ритуальное осмеяние с оградительными целями, средство сексуальной агрессии [Жельвис, 1992, с. 18].

Таким образом, употребление одинаковой терминологии в лингвистике и праве влечет путаницу при квалификации «оскорбления», избежать которую возможно при помощи детального лингвистического анализа «оскорбления» как лингвосоциального явления.

Смешивание понятий происходит и потому, что в русском языковом сознании понятие «ненормативной лексики» получило ряд синонимов и синонимичных выражений: а) ненормативная лексика, нецензурные выражения, непарламентские выражения (лексика), непечатные слова, публичная нецензурщина, некодифицированная лексика, непристойные слова; б) мат, брань, ругань, отборная матерщина; в) шквал выражений сапожника; г) нехорошие слова, самые последние слова, крепкие слова; д) послать на три буквы, послать куда подальше, отсылать к едреной матери, к едрене фене, в жопу; е) плоские шутки, сальная терминология, чистейший жир; ж) словесные помои; з) излишки плоти; и) кричать благим матом; к) сказать пару ласковых слов, загнуть пару ласковых слов; л) мусор, который засоряет речь; м) обороты, режущие слух; слова, от которых уши вянут; н) тошнотворные измышления; о) небрежное обращение с разговорной речью; п) неправильное употребление устоявшихся речевых оборотов; р)

символ плохого вкуса; с) лингвистические экскрименты.

Инвективную, то есть «ненормативную лексику» отличает диффузность ее значений, что обусловлено, с одной стороны, экспрессивно-оценочным характером слов и выражений, составляющих этот лексико-фразеологический разряд языка. Это обстоятельство создает определенные трудности в определении границы между собственно инвективными единицами и эмоционально-экспрессивными образованиями, передающими определенное состояние говорящего без агрессивных интенций и без цели оскорбления (балаболка, хлыщ, шаромыжник). С другой стороны, эта особенность слов и словосочетаний инвективного характера объясняется тем, что инвективная лексика хотя и относится к речи отрицательно окрашенной, лексико-фразеологические единицы инвективной лексики могут приобретать разные оттенки в зависимости от интенций адресанта, вплоть до противоположных оценок (ср., «ху...вый», но и «ох...ительный»; «п...зда», но и «п...здатый»).

Субъективность значения лексико-фразеологических единиц в разных контекстах аффективной речи зависит не от эмоционально-отрицательных качеств предмета речи с точки зрения норм морали или эстетики, а от того, что субъект речи в данный момент с помощью этих единиц выражает, что в них вкладывает, будь то свое отрицательное эмоциональное состояние или соответствующее отношение к адресату речи [Матвеева, 1986, с. 22]. В высказывании, содержащем инвективные единицы, но не направленном на оскорбление адресата, присутствует лишь стилистическая неоправданность выбора эмоционально-экспрессивных языковых средств. В таких речевых ситуациях адресата, прежде всего, настораживает эмоциональный фон, создающийся при использовании в речи «ненормативной лексики», который он ошибочно принимает за ущерб своей социальной привлекательности, подобный тому вреду, который наступает при оскорблении. Вред в таких случаях естественно присутствует, но он не имеет ничего общего с вредом, причиняемым при оскорблении, когда дается персональная негативная обобщенная оценка личности. «Высказывания, содержащие инвективную лексику, но не содержащие негативной оценки личности отличаются от пейоративных прежде всего своей безадресностью. Они, как правило, имеют эмоциональный оттенок присущий

междометиям и «вырываются» вскользь, так, между прочим» [Жельвис, 1992, с.15].

Итак, инвективная лексика и фразеология внутренне дифференцирована и содержит единицы, относящиеся к литературному языку и к внелитературной сфере современного русского языка, где сосредоточены наиболее грубые, циничные лексико-фразеологические единицы.

Корпус инвективной лексики составляют:

1. Бранной тезаурус, входящий в состав литературного языка и относящийся к разговорной речи. В основном это слова и словосочетания периферийных пластов разговорной речи, граничащих с просторечиями и жаргонной речью. Бранные слова и словосочетания образуют «грубо-просторечную» лексику – «нижний» разряд разговорной речи литературного языка (девка, сволочь, мразь, говно, скотина, блядь, сукин сын).

2. Тезаурус разговорно-обиходной лексики, содержащей в семантическом значении констатирующую резконегативную оценку человека, его поведения, действий (негодяй, подлец, гад).

3. Тезаурус общеупотребительной и книжной лексики (бандит, вор, мошенник, палач).

Негативное воздействие на адресата происходит ввиду одинаковых характеристик инвективной лексики вне зависимости от того, к какому слою разговорной или литературной сфере принадлежит высказывание, обладающее свойством оскорбительности. Критерии оскорбительности зависят, в свою очередь, от качества лексических оценок, содержащихся в высказывании, и от стилистических средств их доставки, так как стилистические характеристики слова, тесно связанные с эмоциональными, и входят в качестве особого компонента в структуру значения слова (Арнольд, 1959; Бондаренко, 1972; Булдаков, 1982; Телия, 1980; Шаховский, 1982; Стернин, 2010 и др.).

**Коммуникативные мишени** – это составные части социального портрета, на которые нацелен иллокутивный речевой акт и которые влияют на искажение восприятия лица в ближайшей перспективе социумом (активная функция) [Кусов, 2011, с. 179]. «Основная посылка целевой природы языка (лингвопрагматика) – (акустическое производство не происходит само по себе. В основе

него лежат цели, которые нельзя распознать сразу по их внешней форме) – не только связана с социально разработанными целями, но и с внутри-лингвистическими целями [Тичер и др., 2009, с. 239].

Признаки квалификации «неприличная форма» оскорбления лежат в плоскости «языковой ортологии». Более того К.И. Бринев утверждает, что «противопоставление приличного и неприличного является метапротивопоставлением, то есть находится не на уровне владения языком, а на уровне рефлексии о языке» [Бринев, 2010, с. 26]. В обществе существует этико-лингвистическое соглашение не употреблять «определенные виды» лексики (мат, грубая и обценная лексика) в любом контексте, в силу того что они обладают нормативностью. Если это соглашение нарушается, то нарушение языковых норм сродни по объективной стороне совершения правонарушения. При использовании в речи «профанной лексики» (мат, грубая и обценная лексика), у правоприменителя не возникает сомнений в определении «неприличной формы» оскорбления, так как эти маркеры распознаются без применения специальных знаний в экспресс-анализе. Но лексика, содержащая лексические типы социально-нормативного предцирования (ссылка на известный социальный факт), такие как *церемониальные* выражения (**социальный вердиктив**: вынесение приговора или решения суда, постановка медицинского диагноза, нарушение корпоративной этики, асоциальное поведение и др.), должна обязательно анализироваться в судебной лингвистической экспертизе на предмет наличия стилистической единицы «неприличная форма».

Пример из судебной практики: «Судья – идиот!» [«Цена слова», 2002, с. 340].

**Начало лингвистического анализа, в интерпретации действующих рекомендаций** (*без нашего комментария*). Рассмотрим конкретный пример – подсудимый после оглашения приговора в судебном заседании, выходя из зала, сказал в дверях: «Судья-идиот!»

Является ли это выражение оскорблением судьи? Рассмотрим последовательно лингвистические признаки оскорбления.

1. Присутствуют ли в тексте негативные высказывания о лице, то есть высказывания, негативно его характеризующие? «Судья-идиот» – негативное высказывание, оно сообщает о судье негативную информацию.

2. Адресовано ли это высказывание лично судье? Нет, оно лично

судье не адресовано, характеризует его косвенно, будучи произнесено в качестве оценки в зале судебного заседания после завершения слушания дела.

3. Характеризует ли негативное высказывание лицо в целом, обобщенно, как личность? Да, выражение является обобщающей характеристикой.

4. Является ли это негативное высказывание оскорбительным для судьи по содержанию? Оскорбление – это унижение лица в неприличной языковой форме. Анализируемое выражение наносит судье обиду: применительно к нему публично использовано бранное слово (инвектива), а брань морально осуждается общественным сознанием; явно нарушены нормы вежливости (резкое неодобрение характеризует статусное, высокопоставленное лицо); подсудимый публично, в общественном месте, понизил общественный и интеллектуальный статус судьи. Однако при этом анализируемое высказывание не является оскорблением судьи, поскольку оно по содержанию не содержит порочащей судью информации, оно представляет собой субъективное оценочное мнение, а не утверждение о моральных изъянах судьи или нарушении судьей моральных норм или законодательства.

5. Имеет ли анализируемое негативное высказывание неприличную языковую форму? Слово «идиот» – это стилистически разговорное слово, оно не принадлежит к ненормативной лексике и не является нецензурным (непристойным) и, следовательно, не имеет статуса оскорбительной языковой формы в юридическом смысле слова.

6. Высказано ли оскорбление публично? Выражение употреблено в общественном месте – в суде, то есть публично.

Таким образом, спорное высказывание имеет только три признака из шести, позволяющих говорить об оскорблении, причем отсутствуют как раз основные признаки; все необходимые дифференциальные признаки оскорбления в своей совокупности не представлены. В связи с этим с юридической точки зрения высказывание «Судья-идиот!» не выступает как оскорбление судьи».

**(Окончание лингвистического анализа, в интерпретации действующих рекомендаций)** [«Цена слова», 2002, с. 340].

Лингвистический анализ выражения «Судья-идиот!» на основе интерпретации **внутри-лингвистических целей** (основной

коммуникативной мишени, косвенной коммуникативной мишени, вербальной платформы).

1. Коммуникативная мишень (основная): профессиональная несостоятельность судьи N.

2. Коммуникативная мишень (косвенная): в судьи назначают некомпетентных работников.

3. Вербальная платформа: отрицание общественной значимости – обоснование: греч. «idiota» – необразованный, несведущий человек; неуч, невежда, профан [Латинско-русский словарь, 1986]; слово, копирующее медицинскую терминологию и характеризующее умственную несостоятельность человека: ср., «идиот»: 1) человек, страдающий идиотией, слабоумием; 2) «прост.», «бран.» – дурак, болван, тупица; «идиотия» – мед. Глубокая степень психического недоразвития [Словарь русского языка, 1985]; словарь Д.Н. Ушакова «идиот» – «Человек, страдающий слабоумием, идиотизмом (мед.)» [Ушаков, 2009].

4. Вывод: Раскрытие основной и косвенной коммуникативных мишеней демонстрируют, что использование слова «Идиот!» в отношении судьи N после вынесения приговора – это констатация факта оценки профессиональной деятельности судьи, вынесшего приговор, выражена после провозглашения приговора суда и означает использование маркеров вынесения негативной социальной оценки лицу, «страдающему умственной неполноценностью», с выводом «о недопустимости данному лицу заниматься этим видом профессиональной деятельности». Данная лексическая единица не направлена на выражение недовольства, то есть не является экскламацией или рефлексивом (выражение эмоционального состояния), так как согласно словарю русского языка под ред. А.П. Евгеньевой использована как «бранная лексика», направленная на понижение социальной значимости лица и причиняющая перверсивный эффект социальной перспективе обозначенного лица вынесением «диагноза» (идиотия) без обнаружения на то в спорном тексте специальных полномочий.

**Экземплификация:** текстовый материал для сравнения (А.И. Куприн, «Поход»): «Чего же ты лез на штык, идиот?» [Куприн, 1971].

1. Коммуникативная мишень (основная): опасное для жизни поведение, неоправданное с утилитарных позиций.

2. Коммуникативная мишень (косвенная): отсутствие навыков обращения с оружием.

3. Вербальная платформа коммуникативной мишени: издевка, сожаление, предостережение.

4. Вывод: лексическая единица «идиот» демонстрирует неудовлетворенность опасным для жизни поведением лица и выражает заботу о номинированном лице.

Таким образом, использование слова «Судья-идиот!» в промежуток времени близкий к окончанию вынесения приговора (пока все выходили из зала судебного заседания) означает проявление агрессивного вербального поведения в отношении судьи N, с целью создания эффекта коммуникативной перверсии, выраженного стилистически сниженными «языко-речевыми» средствами инвективного характера (**«неприличная форма высказывания, то есть с целью оскорбления в правовом понимании»** – в тексте заключения судебной лингвистической экспертизе не указывается). **Эффект коммуникативной перверсии активирован** (↑) средствами инвективного характера (социальный вердиктив), отрицающими общественную значимость адресата.

Объединение традиционного естественно-языкового регулирования речевых конфликтов с правовым методом расширяет возможности такой лингвистической сферы, как *ортология*, углубляет понимание применения «языко-речевых» норм в диагностике и теории судебной лингвистической экспертизы: напр., при переводе языковых признаков слов «бранное», «пренебрежительное» в правовые «оскорбительное», «порочащее», «неприличная форма».

Особенностью вопросно-ответной (интеррогативной) процедуры судебной лингвистической экспертизы лингвистических фактов, содержащих описание события преступления (административного правонарушения, деликта) является невозможность дать заключение о нарушении правовой нормы, так как волевой момент правовой квалификации относится к компетенции адресата доказывания, а не судебного эксперта. В диспозиции уголовно-правовой и административно-правовой норм «оскорбление» определение «неприличная форма» к сфере квалификации психического отношения виновного к совершенному деянию не имеет отношения,

так как это *квазиправовой* вопрос. Доказательство наличия/отсутствия «неприличной формы» в оскорбительном выражении должно проводиться лингвистическими средствами.

*Алгоритм Типовой методики [Кусов, 2011] диагностики признаков вербального оскорбления* в судебной лингвистической экспертизе принимает завершённый вид: I часть [Кусов, 2011]: анализ элиминации ложных гипотез, алгоритм диагностики оскорбительности на основе замещения социальных оценок и сравнения подобий; II часть: вопрос о «неприличной форме» оскорбления – анализ внутри-лингвистических целей (коммуникативных мишеней и вербальной основы, вопрос об эффекте коммуникативной перверсии, который выражен стилистически сниженными инвективами и «языко-речевыми» средствами инвективного характера).

**Вопрос** о «неприличной форме»: каково содержание внутри-лингвистической цели спорного высказывания (эксперт раскрывает содержание основной коммуникативной мишени, косвенной коммуникативной мишени, вербальной платформы)? влияет ли данное высказывание на понижение социальной значимости лица? каким способом создается эффект коммуникативной перверсии?, (подразумевается ли вынесение медицинского диагноза, отправление в человеческий низ, сравнение с отходами жизнедеятельности, обвинение в асоциальном поведении, обвинение в нарушении социального ритуала, профанная номинация лица – все то, что может квалифицироваться как «неприличная форма» оскорбления, наряду с использованием мата и обсценной лексики).

**Пример.** «N обгадился» (в переносном смысле).

Экспертиза 1 (по запросу дознавателя). Вывод. Эксперт-лингвист А. Шишлянникова: «Обгадился. В прямом значении это слово обозначает действие, связанное с «телесным низом» человека». Оно относится к просторечной лексике, находящейся за пределами литературного языка. Употребление в переносном, метафорическом значении, это слово приобретает еще более грубую, циничную, оскорбительную окраску».

Экспертиза 2 (по запросу адвоката через шесть месяцев). Вывод. Эксперт-лингвист М. Горбаневский: «В проанализированных высказываниях не содержится информации (сведений) оскорбительного характера, то есть в этих высказываниях

отсутствуют неприличные словосочетания, слова; вся лексика (все слова и выражения) – относятся к литературному языку. Кроме того важно заметить, что тексты в которых содержатся проанализированные высказывания, являются критикой действий лиц, занимающих определенное положение...» [Сафонова, 2005].

Анализ высказывания на основе интерпретации внутрилингвистической цели (основной коммуникативной мишени, косвенной (факультативной) коммуникативной мишени, вербальной платформы высказывания): 1) коммуникативная мишень (основная) – «N не выполнил задуманное»; 2) коммуникативная мишень (косвенная) – «N не имеет навыков, N не способный»; 3) вербальная платформа – «неудача». **Эффект коммуникативной перверсии минимизирован** (↓) (неприличная форма оскорбления отсутствует), так как констатация «неудачи» указывает на наступление ожидаемого результата или неуспешной затее предпринятого (социальный неинвективный дескриптив).

**Вывод:** «неоправдание ожиданий не причиняет вред социальной привлекательности кого бы то ни было». Выражение «N обгадился» (в переносном смысле) – социальный дескриптив «неудачи», не имеющий инвективного значения, не направлен на адресата, имеет дополнительную стилистическую нагрузку констатации.

Правовая материя условна и изменчива. Она не возникает сама по себе, а целенаправленно создается человеком, который стремится организовать свою жизнь в соответствии с определенными рациональными правилами, которые могут меняться с течением времени и изменениями социальной среды [Губаева, 2004, с. 3].

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

**Аверьянова, Т.В.** Судебная экспертиза: курс общей теории / Т.В. Аверьянова. – М.: Норма, 2009. – 480 с.

**Бринев, К.И.** Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза: автореф. дис. ... докт. фил. наук: 10.02.19 / К.И. Бринев. – Кемерово, 2010. – 42 с.

**Власенко, Н.А.** Проблемы точности выражения формы права (лингво-логический анализ): диссертация в форме науч. докл. на соиск. уч. ст. д.юр.н. / Н.А. Власенко. – Екатеринбург, 1997. – 70 с.

**Галяшина, Е.И.** Лингвистика vs экстремизма: В помощь

судьям, следователям, экспертам / под ред. проф. М.В.Горбаневского. – М.: Юридический мир, 2006. – 96 с.

**Головина, С.Ю.** Понятийный аппарат трудового права: монография / С.Ю. Головина. – Екатеринбург: Изд-во УрГЮА. – 1997. – 205 с.

**Горбаневский, М.** Оценка и ненормативность в материалах СМИ / М. Горбаневский // «Понятие чести и достоинства, оскорбления и ненормативности в текстах права и средств массовой информации» / Авторы-составители А.А. Леонтьев, В.Н. Базылев, Ю.А. Бельчиков, Ю.А. Сорокин. – М.: Фонд защиты гласности, 1997. – С. 3-12.

**Губаева, Т.В.** Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной юридической деятельности / Т.В. Губаева. – М.: Норма, 2004. – 160 с.

**Дворецкий, И.Х.** Латинско-русский словарь (около 50 000 слов). Издание 3-е, исправленное. – М.: Русский язык, 1986. – 840 с.

**Жельвис, В.И.** Поле брани. Сквернословие как социальная проблема в языках и культурах мира / В.И. Жельвис. – М.: Ладомир, 2001. – 349 с.

**Жельвис, В.И.** Психолингвистическая интерпретация инвективного воздействия: автореф. дис. ... докт. филол. наук / В.И. Жельвис. – М., 1992. – 51 с.

**Жеребкин, В.Е.** Логический анализ понятий права / В.Е. Жеребкин. – Киев: Вища школа, 1976. – 150 с.

**Жеребкин, В.Е.** Содержание понятий права (логико-юридический анализ): автореф. дис. ... докт. юр. н. / В.Е. Жеребкин. – Харьков, 1980. – 30 с.

**Караулов, Ю.Н.** О состоянии русского языка современности: доклад на конф. / Ю.Н. Караулов // Русский язык и современность. Пробл. и перспективы развития русистики. – М.: Наука, 1991. – С. 3-34.

**Кашанина, Т.В.** Оценочные понятия в советском праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т.В. Кашанина. – Свердловск: Свердловск. юрид. ин-т, 1974. – 16 с.

**Кестер-Тома, З.** Стандарт, субстандарт, нестандарт / З. Кестер-Тома // Русистика. – Берлин, 1993. – № 2. – С.15-31

**Куприн, А.И.** Поход / А.И. Куприн // Собрание сочинений: в 9 т. Т. 3. – М.: Худ. литература, 1971. – С. 137-146.

**Кусов, Г.В.** Анализ и диагностика признаков вербального оскорбления в судебной лингвистической экспертизе (типовая методика): монография / Г.В. Кусов. – Краснодар: Издательский Дом – Юг, 2011. – 156 с.

**Кусов, Г.В.** Основополагающие принципы проведения судебной лингвистической экспертизы / Г.В. Кусов // Модернизация современного общества: проблемы, пути развития и перспективы: материалы I Международной научно-практической конференции: в 2 ч. Часть 2. / ред. И.Н. Титаренко. – Ставрополь: Центр научного знания «Логос», 2011. – С. 176-179.

**Кусов, Г.В.** Судебная лингвистическая экспертиза «оскорбления»: развитие современной теории и практики / Г.В. Кусов // Российский судья. – 2011. – № 9. – С.15-19.

**Матвеева, Т.В.** Лексическая экспрессивность в языке: учебное пособие /Т.В. Матвеева. – Свердловск: УрГУ, 1986. – 92 с.

**Пищальникова, В.А.** Язык как регулятивный механизм деятельности / В.А. Пищальникова // Языковое бытие человека и этноса: психолингвистический и когнитивный аспекты. Вып. 9. / под ред. В.А. Пищальниковой. – М.: МГЭИ, 2005. – С. 147-157.

**Пост. Правительства РФ** от 30 июня 1998 г. № 681 «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» с изм. от 8 июля 2006 г., 4 июля 2007 г., 22 июня, 31 декабря 2009 г., 21 апреля, 3, 30 июня, 29 июля, 30 октября, 27 ноября, 8 декабря 2010 г., 25 февраля, 11 марта, 7 июля, 06 октября 2011 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://base.garant.ru/12112176>. – Заглавие с экрана.

**Россинская, Е.Р.** Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е.Р. Россинская. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. – 736 с.

**Россинская, Е.Р., Галяшина, Е.И.** Настольная книга судьи: судебная экспертиза / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина. – М.: Проспект, 2011. – 464 с.

**Сафонова, Ю.** Словесная канитель: Полемиические заметки эксперта-лингвиста, навеянные Постановлением Верховного Суда РФ / Ю. Сафонова // Журналист. – 2005. – № 9. – С.81-83.

**Семенова, Н.В.** Инвективное функционирование языка и способы его проявления [Электронный ресурс] / Н.В. Семенова –

Режим доступа: <http://www.tmborags.ru/index.php>. – Заглавие с экрана.

**Словарь русского языка:** в 4 т. Т. I: А – Й / АН СССР, Ин-т рус. яз.; под ред. А.П. Евгеньевой. – М.: Русский язык, 1985. – 698 с.

**Степко, М.Л.** Определение объема и границ понятия «инвектива» в отечественной лингвистике [Электронный ресурс] / М.Л. Степко. – Режим доступа: <http://www.lingvomaster.ru/files/263.pdf>. – Заглавие с экрана.

**Стернин, И.А.** О понятии «неприлична форма высказывания» в лингвистической экспертизе / И.А. Стернин // Воронежский адвокат. – 2010. – № 1. – С. 16-21.

**Тичер, С.** Методы анализа текста и дискурса / С. Тичер, М. Мейер, Р. Водак, Е. Веттер; пер. с англ. А. Киселевой. – Харьков: Изд. Гуманитарный центр, 2009. – 356 с.

**Ушаков, Д.Н.** Большой толковый словарь современного русского языка / Д.Н. Ушаков. – М.: Альта-Принт: ДОМ. XXI век, 2009. – 1248 с.

**Цена слова:** Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах по защите чести, достоинства и деловой репутации / под ред. проф. М.В. Горбаневского. – М.: Галерея, 2002. – 424 с.

**Черкасова, М.Н.** Речевые формы агрессии в текстах СМИ: монография / М.Н. Черкасова. – Р-н-Д.: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2011. – 123 с.

## ФИЛОСОФИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Е.А. Кожемякин<sup>1</sup>

*Белгородский государственный национальный  
исследовательский университет*

Д.К. Манохин<sup>2</sup>

*Белгородский государственный национальный  
исследовательский университет*

## СЕМИОТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ

В статье рассматривается общая модель семиотического процесса в массовой культуре, основанная на концептуальных разработках Ч.С. Пирса, Ч. Морриса и У. Эко. Авторы апробируют представленную теоретическую модель на примере рекламного семиозиса и киносемиозиса в массовой культуре.

**Ключевые слова:** Семиозис, массовая культура, киносемиозис, рекламный семиозис, Ч. С. Пирс, Ч. Моррис, У. Эко, семиотика.

E.A. Kozhemyakin

*Belgorod National Research University*

D.K. Manokhin

*Belgorod National Research University*

## SEMIOTIC ASPECTS OF MASS CULTURE

The article considers the general model of semiotic process in mass culture. The model is based on the conceptions of Ch.S. Peirce, Ch. Morris, U. Eco. The authors implicate the theoretical model to the advertising and cinematic semiosis of mass culture.

---

<sup>1</sup> Кожемякин Евгений Александрович, доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой коммуникативистики, рекламы и связей с общественностью Белгородского государственного национального исследовательского университета (г. Белгород).

<sup>2</sup> Манохин Дмитрий Константинович, кандидат философских наук, доцент кафедры философии Белгородского государственного национального исследовательского университета, г. Белгород.

**Key words:** Semiosis, mass culture, cinemagrafic semiosis, advertising semiosis, Ch. S. Peirce, Ch. Morris, U. Eco, semiotics.

*Общая модель анализа семиозиса массовой культуры*

К началу XXI века сложилось несколько подходов к изучению массовой культуры: социально-идеологический и семиотический.

Первый подход характеризуется стремлением к поиску социально-экономических оснований массовой культуры как преимущественно идеологического явления. Инструментальный, исключительно рациональный и фактически репрессивный характер массовой культуры становится предметом «критических разоблачений» в рамках исследований этого направления. Массовая культура трактуется как инструментарий контроля над сознанием масс посредством навязывания гедонистических, примитивных, однообразных моделей обыгрывания мира.

Эта традиция изучения массовой культуры традиционно строится на двух дихотомиях, которые используются исследователями в качестве допущений: на противопоставлении «элитарного» и «массового» и на противопоставлении «уникального» («творческого») и «массового» («шаблонного»).

Первая дихотомия «элитарное» / «массовое» имеет, скорее, социально-экономическое основание, в соответствии с которым «элитарное» мыслится как принадлежащее к привилегированным социальным группам, разделяющим особую, герметичную систему вкусов, норм и традиций, а «массовое» – как свойственное широким, недифференцированным слоям общественности с «усреднёнными» вкусами, нормами и традициями.

Вторая дихотомия основана на идее о ценности культурного текста, которая тем выше, чем более «авторским», неповторимым является произведение, и тем ниже, чем более клишированным и серийным оно представляется. Очевидно, что эта идея носит оценочный характер и предполагает обращение к личному эстетическому опыту и принятым в конкретном сообществе образцам «высокого искусства».

В то же время, к концу XX века сложилась такая ситуация в системе массовой коммуникации, в которой различие «элитарного» и «массового» становится избыточным, а зачастую и методологически невозможным. История культуры предоставляет

нам множество примеров массовизации некогда элитарного искусства (напр., т.н. «арт-хаус» в кинематографе, ставший распространённой нормой для кинофестивалей как явления массовой культуры, или концептуализм, установки которого стали доминировать в массовой (городской) архитектуре или бытовом дизайне). И напротив, культурные тексты, изначально маркированные в общественном сознании как «массовые», впоследствии приобретают статус «элитарных» («авангардных», «для посвящённых»), как это произошло, напр., с искусством поп-арта. Более того, размывание социальных и культурных границ вследствие развития технических средств массовой коммуникации, делает достаточно затруднительным выделение «закрытых» форм культуры, характерных для более или менее герметичных групп.

В условиях сетевого общества, когда множественные относительно малочисленные группы индивидов могут существовать на протяжении некоторого времени, будучи «скреплёнными» исключительно на основе ограниченного количества интересов и вкусов, становится возможным использование культурных текстов и как «элитарных» (маркирующих относительно автономный статус группы), и как «массовых» (свойственных для более устойчивых и крупных социальных форм, в которые включены относительно герметичные группы) одновременно. Наиболее показательной иллюстрацией этого процесса в современной российской массовой культуре является «шансон» как музыкальное направление, маркирующее одновременно и «криминальные субкультуры», и систему массовых вкусов.

Наконец, капиталистическая логика общества потребления требует использования различных форм и текстов культуры для достижения коммерческого результата, и в соответствии с ней «элитарное» предлагается как таковое очень широкой аудитории, готовой «присвоить» и «потребить» его в качестве атрибута собственной индивидуальности (напр., «арт-хаус»).

Различение массовой и «не-массовой» культуры по признаку «творческое» / «клишированное» также не представляется в полной мере соответствующим культурным реалиям сегодняшнего дня не только в силу их интертекстуального характера (основанием для создания нового произведения может служить цитата из знакомого

---

широкой публике другого культурного текста), но и методологической сложности определения аутентичности авторского произведения. Как показал Умберто Эко в работе «Инновация и повторение» [Есо, 1994], субъект такого различия всегда испытывает определенные сомнения относительно того, является ли авторское произведение оригинальным или «встроено» в некоторую серийность идентичных текстов, характерных для определенного культурного и исторического контекста.

В связи с этими обстоятельствами более последовательным и ориентированным на строгий анализ представляется второй – семиотический – подход, в соответствии с которым ставится вопрос о массовой культуре как особой среде, в которой конструируются и имплицитно определяются смысловые структуры, а также модели распознавания значений и текстов широкой аудиторией. Семиологов в меньшей степени интересуют проблемы сосуществования массового и немассового, эстетической оценки явлений массовой культуры, и в большей – устройство самого коммуникативного поля, в котором нечто функционирует и распознаётся как текст массовой культуры. Иными словами, массовая культура трактуется здесь как коммуникационная система, условием возможности которой выступают знаковые системы.

Поясним, что массовая культура понимается не столько как система знаков, сколько как среда, в которой функционирует нечто как знак. Это основание позволяет рассматривать тексты массовой культуры не как комплексы уже устоявшихся знаков, при изучении которых исследователю необходимо обнаружить явные и неявные значения, закреплёнными за ними «объективно», а как процесс семиозиса, в ходе которого реципиент обнаруживает в некоторых объектах знаковые функции и интерпретирует их в соответствии с определенной системой правил (кодом), принятым в системе массовой культуры. Иначе говоря, от исследователя требуется не обличить и демистифицировать тексты массовой культуры, а выявить и описать правила, по которым объекты массовой культуры интерпретируются (декодируются) широкой аудиторией.

Это требование предполагает знание о характеристиках той среды, которая имплицитно определяет правила интерпретации. Массовая

культура обладает следующими свойствами: анонимность и массовость аудитории; клишированность сообщений; серийность и многотиражность текстов; общедоступность текстов; гедонистическая направленность коммуникации; коммерческий характер распространения культурных текстов. Следуя теоретической модели коммуникации, разработанной Умберто Эко [Эко, 2006], кратко опишем характер выражения этих свойств в массовой культуре. Напомним, что эта модель включает в себя систему коммуникативных элементов и действий: адресант формулирует сообщение в соответствии с определённым кодом и лексикодом (кодифицирует информацию), актуализирует и транслирует его посредством доступных ему средств и каналов коммуникации адресату, который, в свою очередь, декодифицирует сообщение на основе общего для него и адресанта кода и лексикода. Принципиальным является то, что это нелинейная последовательность действий: в различных формах коммуникации кодификация и декодификация – это взаимосвязанные, но не дискретные процессы, каждый из которых определяет содержание другого в момент актуализации последнего.

С точки зрения Эко, адекватная семиотическая модель коммуникации должна ориентироваться не столько на внутренние закономерности знаков в процессе общения, сколько на способы их использования для достижения определенной цели, которую ставят перед собой коммуниканты.

Существенным элементом коммуникационного процесса является лексикод. Под лексикодом Умберто Эко понимает подсистему языка, распространенную не во всей совокупности его носителей, а только среди определённой группы или культуры. Так, будучи носителями общего языка, богатые и бедные, горожане и сельские жители, люди с высшим и средним образованием, тем не менее, используют различные лексикоды.

Можно сказать, что лексикод – это вторичный код, система коннотаций, которые разделяют представители определенного сообщества в структуре общего языкового общества.

Барьеры, возникающие в ходе коммуникации, в том числе отсутствие взаимопонимания или невозможность адекватной интерпретации сообщений, по мнению Эко, в значительной степени связаны именно с несогласованностью лексикодов. В свою

очередь, высокая степень дифференциации лексикодов в обществе это следствие его высокой социальной дифференциации. Массовая культура характеризуется либо стремлением к использованию лексикода, разделяемого определённой аудиторией (реклама, а также жанрово специфичные виды искусства), либо же отказом от его использования в пользу употребления общего кода (популярные жанры искусства).

С семиотической точки зрения использование кода и лексикода подчиняется трём группам правил, сформулированных Чарльзом Моррисом: семантическим, синтаксическим и прагматическим. Семантические правила регулируют отношения знака к его объекту, синтаксические – отношения между знаками (а также, отношения знака к самому себе) и прагматические – отношения между знаком и интерпретатором. Характер отношений знака определяет его тип. Наиболее подробная типология знаков в зависимости от содержания их отношений была разработана Чарльзом Сандерсом Пирсом. Далее мы будем придерживаться этой стратегии интерпретации знаков в контексте идей Чарльза Морриса о правилах семиозиса.

Так, в семантическом плане целесообразно выделять иконические, индексальные и символические знаки. Иконические знаки основаны на принципе подобия знаковой формы объекту означивания; индексальные знаки – на принципе обращения к источнику; символические знаки – на принципе конвенции о связи или регулярности связи между знаком и объектом.

В синтаксическом плане выделяются качественные, единичные и общие знаки. Для описания синтаксиса стоит учитывать структуру предложения, сформулированную Чарльзом Моррисом. Он утверждал, что «предложение <...> предполагает знаки-индексы, характеризующий знак-доминанту <...> и характеризующие спецификаторы <...>» [Моррис, 2001, с. 60] (под характеризующим знаком имеется в виду возможность знака обозначать множество вещей). Данное правило образования синтаксической структуры дополняется правилами преобразования, специфичными для различных форм семиозиса.

В прагматическом плане следует различать ремы, суждения и умозаключения. Рематические знаки представляют интерпретатору возможность определённого объекта; они репрезентируют объект

исключительно в его свойствах. Суждения являются знаками действительного объекта; посредством суждения интерпретатор воспринимает объект в условиях его действительного существования. Как пояснял Пирс, «самая простая возможность проверить, является ли знак суждением, состоит в том, что суждение либо истинно, либо ложно, но оно не даёт никаких оснований судить о том, что дело обстоит именно таким образом» [Peirce, 1931-1958, с. 310]. Умозаключение предъявляет интерпретатору объект в категориях общего правила, на основании которого переход от определённых предпосылок к определённым следствиям является предсказуемым. Суждение обязательно включает в себя рему, а умозаключение – ремы и суждения.

Рематическим знаком в массовой культуре может являться, напр., предикат без субъекта *«настоящий»*, используемый в рекламной коммуникации. Суждением, построенным на этой реме, является рекламный слоган *«будь настоящим»*. Умозаключение, соответственно, представлено, напр., высказыванием *«Поддельные часы – для поддельных людей. Будьте аутентичными. Будьте настоящими»* (девиз швейцарских часовщиков). Рема *«настоящий»* отсылает интерпретатора к неопределенной группе объектов и вызывает определенные коннотации в сознании интерпретатора. Эта рема актуализируется в суждении *«будь настоящим»* (*«настоящий»* связывается с действительным положением вещей, которое может быть истинным или ложным, но не обосновано в самом суждении). Обоснование истинности суждения реализуется в умозаключении, в котором на уровне ряда конвенций («законов» по Пирсу) устанавливается истинность суждения. Такими конвенциями являются «фоновые» представления интерпретатора о ценности аутентичности, связи между использованием подделки и индивидуальности потребителя, значимости проявления индивидуальности, о несовместимости экзистенциальной целостности и использования «вторичного товара». Это умозаключение фактически на конвенциональном уровне онтологизирует потребителя как уникального индивида, основным экзистенциальным свойством которого конституируется стремление к аутентичности, причём *«настоящее»* «законодательно» связывается с единичностью и противопоставляется серийности и «вторичности» и, главным

образом, – «подделке». Показательно, что рема «поддельный» в приведённом примере, актуализируясь в суждениях «поддельные часы» и «поддельные люди» имплицитно описывает особое семантическое правило, в соответствии с которым неаутентичный предмет потребления налагает на потребителя определённые экзистенциальные характеристики. Открытый интерпретационный характер ремы «настоящий» конкретизируется в умозаключении, его семантический потенциал сужается до совершенно определённых значений, обоснованных с помощью синтаксически упорядоченных суждений («поддельные часы – для поддельных людей», «будьте аутентичными», «будьте настоящими»).

Этот пример демонстрирует некоторые специфические семиотические свойства рекламы как формы массовой культуры. В наиболее полном и последовательном виде в рекламе реализуются принципы интенциональности и многоуровневости знаков. Это означает, что коммуникативные действия в рекламной коммуникации всегда мотивированы, рационализированы адресантом, соотносятся с его целями и задачами, реализуются в рамках более общей коммуникативной стратегии, а также представляют собой сложную семиотическую структуру с обязательным использованием символических, общих знаков, выраженных с помощью суждений и умозаключений.

Эта особенность рекламы вытекает из общих характеристик массовой культуры. В семиозисе массовой культуры прагматические правила являются определяющими для формирования или выбора семантики и синтактики. Предпочтение «анонимного» адресата или т.н. целевой аудитории в совокупности с коммерческим характером трансляции текстов имплицитно описывает необходимость использования семантических правил, построенных на принципе конвенции / регулярности, общих знаков и синтаксических форм, определяющих интерпретацию умозаключений. Вместе с тем, гедонистическая направленность массовой культуры требует не только воспроизведения клише, но и новой «аранжировки» и вариации знака. В этом контексте становится возможным использование единичных знаков, которые, тем не менее, либо являются заполнением т.н. «переменных», либо путём регулярного употребления или «экспертной» оценки преобразуются в новый общий знак.

В семиозисе массовой культуры в принципе может быть использован любой тип знака при условии, что он используется в соответствии с описанной ранее «диалектикой». В связи с этим целесообразно говорить о приоритете эмотивной, побудительной и эстетической функций кода и задействовании того, что Умберто Эко называл кодами вкуса, иконографии, риторики, стилистики и бессознательного [Эко, 2006, с. 200-202].

*Рекламный семиозис в массовой культуре*

Рекламное сообщение – это чаще всего поликодовое единство, включающее в себя сочетание знаков, функционирующих в соответствии с правилами различных кодов – вербальных, визуальных, аудиальных, социальных и т.д. Особую роль в современной рекламе играют визуальные знаки, которые условно относят к разряду иконических.

В семиотике сложилось как минимум две точки зрения на проблему соотношения иконических рекламных знаков и кода как систему семиотических правил.

Ролан Барт, одним из первых сформулировавший основные принципы семиотического подхода к рекламе и описавший рекламное сообщение с точки зрения семиотики, так определял отличия между визуальными и вербальными знаками: «Знаки иконического сообщения не черпаются из некоей кладовой знаков, они не принадлежат какому-то определенному коду, в результате чего мы оказываемся перед лицом парадоксального феномена – перед лицом сообщения без кода» [Барт, 1989, с. 301]. Вербальный текст, по мнению Барта, выполняет функцию «закрепления смысла», он «репрессирует» многозначность и семантическую вариативность визуального сообщения: «“закрепление” смысла так или иначе всегда служит разъяснению изображения, однако все дело в том, что это разъяснение имеет избирательный характер; перед нами такой метаязык, который направлен не на иконическое сообщение в целом, но лишь на отдельные его знаки; поистине, текст – это воплощенное право производителя (и следовательно, общества) диктовать тот или иной взгляд на изображение: “закрепление” смысла – это форма контроля над образом» [Барт, 1989, с. 307].

Умберто Эко придерживается иной точки зрения: «реклама всегда пользуется визуальными знаками с устоявшимся значением,

---

провоцируя привычные ассоциации, играющие роль риторических предпосылок, те самые, что возникают у большинства. Напр., изображение молодой супружеской пары с ребенком отсылает к представлению «нет ничего прекраснее семейного счастья», и, следовательно, к аргументу «если это счастливое семейство пользуется этим продуктом, то почему этого не делаете вы?» (Также и такой визуальный знак, как надпись «Осторожно, дети!», основывается на риторической предпосылке «В больших городах с интенсивным уличным движением дети, идущие в школу, подвергаются опасности»)» [Эко, 2006, с. 134-135].

Несмотря на различия в трактовке кода (Барт ведёт речь, по всей видимости, только о вербальном коде, в то время как Эко понимает код гораздо шире), семиологи подчёркивают особое значение визуальных знаков в рекламной коммуникации, причём преимущественно фотографий, а не рисунков. Фотография воспринимается адресатом как точная репрезентация действительности, как именно иконический знак, лишённый авторских коннотаций, в то время как рисунок понимается читателем как произведение, предполагающее авторскую интерпретацию реальности. В действительности же, адресант совершает определённый выбор значимых и незначимых элементов репрезентации не только в процессе рисования, но и в процессе фотографирования. Однако в современной рекламе у фотографических изображений «убеждающая сила» несравненно выше, чем у прочих знаков. Это достигается, главным образом, за счёт скрытой коннотации фотографий; их значение отсылает адресата к социальным и культурным смыслам, к «коллективному бессознательному», к устойчивым и распространённым в обществе образам и стереотипам, при том, что сама форма визуального знака остаётся иконической.

В целом, в рекламе достаточно сложно выделить «чистые» типы знаков. Иконические знаки, такие, как фотография или видеоряд, функционируют как символические элементы, а индексальные знаки (напр., бренды) могут сочетать в себе также признаки иконических и символических знаков. В то же время, основным аспектом функционирования знаков в рекламе является символический. Использование символических образов связывается в рекламной коммуникации с ожиданиями аудитории:

как правило, рекламное сообщение включает в себя легко узнаваемые адресатами символы. Более того, символическое действие рекламы связывается с созданием особой, «оптимизированной» картины мира, которая обязательно напоминает адресату непосредственно о наблюдаемой реальности, но при этом является всегда улучшенной её версией. Реклама побуждает нас взглянуть на привычные объекты особым образом, выбрать «нужный» ракурс их восприятия. Рекламное сообщение не столько провоцирует нас совершить определённое действие, сколько создаёт или воссоздаёт выгодную для адресанта систему значений. Дж. Бигнел по этому поводу уточняет, что «целью рекламы является включение нас в её структуру значений, побудить нас к участию в декодировке ее лингвистических и визуальных знаков и получить удовольствие от этой деятельности декодирования» [Bignel, 1997, с. 33].

Иными словами, семантические правила рекламного сообщения строятся не на принципе точной репрезентации фактов и элементов действительности, а на принципе формировании новых значений знакомых объектов. В определённом смысле реклама не искажает действительность, а создаёт особое представление о ней. Это обусловлено также и тем, что заказчики и изготовители рекламы осознают необходимость проводить и подчёркивать различия между группами однотипных товаров. В этом смысле символические качества брендов позволяют нам видеть существенную разницу между Pepsi и Coca-Cola, Marlboro и Pall Mall, Apple и Microsoft. Объективные различия между группами товаров, маркированных этими «именами», не настолько существенны, как различия между самими «именами».

Семантические особенности рекламы заключаются также и в том, что знаки, функционирующие в ней, расширяют своё значение не только за счёт обозначения якобы особых качеств товара, но и благодаря искусственному помещению их в определённый социальный контекст. Товар начинает не просто обозначать самого себя как материальный объект; он фактически начинает выступать в качестве индикатора социального статуса, социального положения, социальной роли. Реклама формирует представление о товарах как о «престижных» и «непрестижных», «элитных» и «семейных», «мужских» и «женских», «молодёжных» и

«солидных» и т.п. Семантика рекламного сообщения реализуется в системе социальных и культурных смыслов, позволяя нам связывать предмет рекламы с полом, возрастом, достатком, профессией.

Для рекламной коммуникации не менее важными являются синтаксические правила построения сообщений, касающиеся сочетания, последовательности и иерархии знаков. Так, в психологии рекламы часто выделяют «удачные» и «неудачные» цветовые сочетания в рекламном тексте; существуют конвенции относительно соотношения визуального и вербального текста; важной является динамичная сюжетная структура (нарратив) видеоряда рекламы и т.д. Синтаксические правила в рекламе могут как воспроизводить закономерности сочетания объектов в действительности, так и нарушать их. В этом отношении в рекламе одинаково часто встречаются как обыденные, повседневные, так и фантастические, нереалистичные сюжеты и ситуации.

Рекламная коммуникация является одним из наиболее «прагматичных» типов коммуникации, поскольку её содержание полностью подчинено задачам реализации коммуникативных стратегий и целей адресанта. С точки зрения прагматики, воздействие рекламы на аудиторию разнообразно: она транслирует ей определённые установки, провоцирует эмоциональное и ценностное отношение к предмету рекламного сообщения, формирует мнение о товаре и услугах и т.д. Одной из важнейших прагматических особенностей рекламы является её ориентация на формирование чувства удовлетворения, интереса и развлечения аудитории, т.е. на реализацию гедонистической и эстетической функции дискурса. Однако эта функция не является ведущей, как, напр., в художественной или развлекательной коммуникации. В рекламе значимым является не столько удовлетворение как таковое, которое адресат получает от рецепции сообщения, сколько те идеи, оценки и установки, которые закрепляются в его сознании в результате эстетического восприятия рекламы.

#### *Киносемиозис в массовой культуре*

Киносемиозис массовой культуры представляет собой сложную коммуникативную систему, базирующуюся на т.н. «специфических» и «неспецифических» кодах. Благодаря иконической природе и аудиовизуальному синтезу кино оказалось

способно «имитировать» как коды визуального и слухового восприятия, так и коды некинематографических форм художественной (живопись, музыка, театр и т.п.) и нехудожественной (вербальный язык, жест и т.п.) коммуникации. Эти коды можно условно назвать «материальными» и распределить в соответствии с оппозицией «визуальное-слуховое». Каждый из подобных кодов является основанием для интерпретации, совершаемой при помощи кодов, специфических для кинематографа. К последним относится код визуального кинокадрирования, включающий динамические/темпоральные парадигмы точки зрения, оптического рисунка, обреза и др. параметров. Использование данного кода позволяет образовать исходную структуру киносемиозиса, в которую входят визуальные «образы» предметов (доминанта), неспецифические коды их коннотации (спецификаторы первой степени) и собственно специфические элементы кинооператорской системы (спецификаторы второй степени). Для преобразования исходных структур используется код монтажа, который чисто формально сводится к правилам ассоциации кадрирования по темпоральному (скорость, повторы и т.п.) и постраничному (ассоциация-диссоциация композиции, цвета и т.п.) аспектам в их взаимосвязи. Однако в силу иконической природы и наличия культурного контекста киномонтаж может быть интерпретирован с точки зрения нарративных и риторических кодов. Помимо визуальных аспектов кино обладает аналогичными по функции кодами звукового кадрирования и монтажа. Утверждение об их кинематографической специфичности является исторически проблематичным, но, иерархически «высший» код – кинокод аудиовизуального монтажа – отчасти снимает эту проблему.

Таким образом, киносемиозис опирается на поликодовую структуру, которая имеет иерархическую форму. Этот код служит условием возможности образования и трансляции различных типов кинематографических сообщений. Типы формируются путём наложения прагматических, семантических и синтаксических ограничений на «базовый» код и представляют собой лексикоды. Это лексикоды игрового, анимационного, документального и научного кино. В дальнейшем, нас будет интересовать игровое кино, так как дать «панораму» всех лексикодов в объёме статьи

затруднительно и, к тому же, игровой кинематограф является образцом для анализа массовой культуры.

Термин «игровой» с точки зрения семиотики может быть применён к кино в семантическом, синтаксическом и прагматическом контекстах. При этом нужно учитывать, что именно прагматика определяет семантику и синтактику и, поэтому, в них всегда сильно выражена прагматическая составляющая. Прагматика массового кино строится на стремлении адресанта создать условия игры со зрителем, от участия в которой адресат получил бы гарантированное удовольствие. Адресатом является не конгенитальный автору субъект, знающий всю историю мирового кинематографа как формы искусства и готовый оценить переворот в области киносинтаксиса и т.п., а представитель определённой группы, разделяющей взгляды на тип эмоциональной реакции, или анонимный субъект т.н. «широкой аудитории». Такие группы/широкая аудитория формируются в контексте системы кинопоказа, рекламной поддержки, киножурналистики, с одной стороны, и финансовых сборов, отзывов в системах массовой коммуникации (интернет), изучения психологических реакций и т.п., с другой. Причём, даже т. н. «авторские» фильмы постепенно получают общее обозначение в журналах и на обложках DVD типа «жанр: арт-хаус», «жанр: эксклюзив». Это отражает стремление включить «не-массовые» кинотексты в контекст «массового» и сформировать соответствующую аудиторию и желание стать представителем такой «элитной» аудитории. Действительно, нельзя не заметить, что фильмы, подпадающие под категорию артхаусного кино, возможно, помимо желаний их создателей, интерпретируются аудиторией и критиками как набор *определённых* ожиданий. Как правило, отправитель киносообщения ориентируется на связь «логической» (умозаключение) и эмоциональной (реакция типа страха, смеха и т.п. и удовольствие от получения желаемой эмоциональной реакции) интерпретант. Причём «затраты» на формирование умозаключения (свадисигнума) должны быть минимизированы, но не исключены полностью, так как в последнем случае реципиенту будет «скучно» от полной предсказуемости интерпретации. Важным является также наличие «формального» качества, которое в случае массовой продукции связывается с использованием передовых технологий для создания

эффекта трёхмерности, чёткости изображения и т.п., так как это позволяет адресату подтвердить свой статус как потребителя качественного объекта культуры. Отрицание подобного элемента может стать характерным для «оппозиции» массовому кино, что приводит к появлению нового киобренда. В последнее время типичным для кино массовой культуры становится также использование апелляции к уже знакомым адресату кинотекстам, что позволяет теоретикам говорить о формировании «необарокко» [Есо, 1994].

Семантика кино строится на иконических знаках. Именно базирование кинодискурса на фотографических иконах, преобразованных за счёт динамического кадрирования, привело к двусмысленному результату. С одной стороны, игровое кино оказалось одной из самых сложных семантических систем: исключая существование референта/денотата, оно строится на последовательных коннотациях множества стилистических кодов – от живописи, музыки, актёрской игры и т.п. до особенностей построения кинокадра и монтажа. Тем более, что У. Эко, напр., показал возможность конвенциональной интерпретации иконического знака как условного моделирования культурно опосредованной модели перцептивных отношений [Эко, 2006, с. 154-181]. В этом смысле киносемантика представляет собой именно игру конвенциональных коннотаций с возможной полной экспликацией эстетической функции знака. С другой стороны, динамическая иконическая природа кинознака создала иллюзию правдоподобия, запечатления самого референта как объекта физической реальности. Массовый кинематограф акцентирует внимание на второй стороне, используя киноиконы как имитацию стимулов (темнота – страх и т.п.), имитацию разыгрываемой актёрами ситуации, или «реальную» имитацию «нереального» (гиперреализм фантастических существ, космических кораблей и т.п.). При этом данные знаки становятся репертуаром и начинают определять определённый жанр как субкод лексикода массового игрового кино. Соответственно, иконы через имитацию квазииндексов преобразуются в квазисимволы/общие знаки. Особенность их функционирования в киносемиозисе состоит в том, что они, являясь квазисимволами, воспринимаются реципиентами одновременно как иконы, «совпадающие» с референтами, что

вызывает разговоры о качестве «фиктивного» мира и усиливается благодаря контексту СМИ («система звёзд», провоцирующая восприятие не просто персонажа, но «реального» человека). Естественно, существует градация от «наивного» зрителя к «ценителю» символов, отражённая и в жизни кинофестивалей, и в прессе. Но даже ценитель рассматривает кинодискурс как метафору объективной реальности и, таким образом, возвращает квазисимволу статус иконы, имеющей «эпистемологическую» ценность. Задачей отправителя информации является модификация каталога знаков за счёт их усовершенствования (техническая репродукция), перераспределения (перенесение знака из одного контекста в другой – смена жанра, соединение жанров и их элементов и т.п.), видоизменения (сериальность использования знака – сиквел и т.п.). Всё это позволяет поддерживать киносемиозис в состоянии актуального функционирования.

Синтаксис игрового кино также зависит от жанровых вариантов. Однако типичным является использование формальных аспектов монтажа не как аналога непрограммной музыки (хотя подобное допустимо в «клиповых» вставках фильмов, где, всё же, музыка подчиняет себе изображение и не создаёт «травматического» эффекта ввиду знакомства реципиента с собственно музыкальными клипами), но как стимулов (быстрый темп в сцене погони и т.п.). Предпочтение отдаётся повествовательному и риторическому аспектам монтажа. Нарративные технологии следуют схемам, установленным через принцип регулярности, и, как правило, представлены двумя вариантами: «сложной» драматургией (наличие нескольких повествовательных сегментов, эллиптический синтаксис и т.п.) и структурой «шоустопперов» (нарратив линейен и главное место уделяется зрелищным эпизодам). В первом случае вариации связаны с перестановками элементов, или изменением финала; во втором – всё предсказуемо, но эффект достигается от технического совершенства «аттракциона». Подобные манипуляции позволяют сделать синтаксическое оформление умозаключения (свадисигнома) «разнообразным» и, вместе с тем, декодируемым без нарушения базовых правил того или иного лексикода. Что касается риторики монтажа, то в ней используются классические тропы, представляющие собой либо буквальное сведение известной метафоры к её семантическому правилу,

декодированному при помощи визуальных/слуховых знаков, либо использование формы тропа через аналогию структуры кадра/монтажа (синекдоха – часть объекта в кадре и т.п.). Здесь задействуется «интеллектуальное» декодирование, но по причине знания стандартов оно не вызывает у адресата неприятия, а, напротив, позволяет получить удовольствие от восприятия киносемиозиса как интерпретации риторических загадок. В риторическом монтаже также осуществляется побудительная функция, направленная на трансляцию некоторой системы норм и ценностей. В этом контексте игровое кино часто играет роль пропагандистского дискурса, но, как правило, идеологемы, которые оно транслирует, являются репрезентациями уже известной системы идей, «аранжированных» при помощи кинотропов.

Перечисленные особенности семиозиса игрового кино позволяют интерпретировать его как феномен массовой культуры, который в отличие от рекламы направлен не столько на конструирование системы идей и установок (побудительная функция), сколько на реализацию рационально организованной гедонистической функции дискурса, целью которого является комфорт и удовольствие адресата.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

**Барт, Р.** Избранные работы. Семиотика. Поэтика / пер. с фр., вступ. ст. и коммент. Г.К. Косикова. – М.: Прогресс, 1989. – 616 с.

**Моррис, Ч.У.** Основания теории знаков / Ч.У. Моррис // Семиотика: Антология / сост. Ю.С. Степанов. – М.: Академический проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – С. 45-97.

**Эко, У.** Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко; пер. с ит. В.Г. Резник и А.Г. Погоняйло. – СПб.: Симпозиум, 2006. – 544 с.

**Bignel, J.** Media Semiotics. An Introduction / J. Bignel. – Manchester, 1997. – 242 p.

**Eco, U.** Innovation et repetition: entre esthetique moderne et postmoderne / U. Eco // *Rezeaux*, n. 68 CNET, 1994. – P. 123-145.

**Peirce, C.S.** Collected Papers 1931-58., vols. 1-6, ed. Hartshorne, C. & P. Weiss, vols. 7-8, ed. Burks, A. W. – Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press. – vol.2.

## ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

### МЕТОДИЧЕСКАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ АЛТАЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

**На филологическом факультете Алтайской государственной педагогической академии во время зимних каникул прошла методическая школа-семинар «Актуальные проблемы школьного преподавания русского языка и литературы в условиях перехода на ФГОС» для учителей Алтайского края. Участие в ней приняли: учёные-методисты В.Ф. Чертов (Москва, МПГУ), Е.О. Галицких (Киров, ВятГГУ), учителя-словесники, новаторы г. Барнаула и специалисты кафедр литературы, русского языка и методики его преподавания АлтГПА.**

*Виктор Федорович Чертов, зав. кафедрой методики преподавания литературы Московского педагогического государственного университета:*

– В преподавании русского языка и литературы в школе я выделяю три главные проблемы: чтение, письмо и говорение. Произошли изменения в восприятии текста. Скорость чтения тоже изменилась. Сейчас читают быстро, поверхностно, все подряд. Формируются новые поколения, которые с трудом различают, где настоящий, а где так называемый писатель... Поэтому задача учителя – помочь в грамотном выборе текста. Главное, чтобы навыки, полученные при чтении, были реализованы далее – в говорении и на письме.

Говорим мы более раскованно, свободно, быстро, но этого мало. Нужно говорить не просто правильно, а хорошо: образно, интересно для собеседника, уметь владеть разными жанрами речи. Ведь разговаривать с ребенком, напр., рассказывать ему на ночь сказку, – это одно, а выступать с докладом на публике – совсем другое. Все это требует навыков, неслучайно сейчас возвращаются к достижениям риторики.

Письмо – третья проблема, связанная с первыми двумя. Человек, мало читающий и плохо говорящий, скорее всего, будет и

писать плохо. К тому же, благодаря медийной среде, в языке происходят серьезные изменения, вводятся новые знаки – в эсэмэсках появляются различные символы, смайлики, значки, которые имеют смысл. Приходится считаться и с появлением большого количества иностранных слов, вошедших в наш обиход вместе с Интернетом. С одной стороны, можно охать: «Это безобразие!», с другой, надо признать, что это уже произошло.

Все эти три проблемы сводятся к утверждению нового стандарта для 10-11 классов, где русский язык и литература объединены в единый интегрированный курс. Логичнее было бы интеграцию проводить в основной школе, а в старшей – продолжать. Русский язык без русской литературы вообще мало кому интересен, это язык Толстого, Достоевского и Чехова. Точно так же русская литература должна рассматриваться не только как отражение нашего духовного опыта, но и как высшее проявление русского языка во всей его образности и красоте.

Теперь по новому стандарту будет обязательный экзамен по литературе. Очень бы хотелось верить, что мы вернемся к общему экзамену по русскому языку и литературе, по форме напоминающему сочинение. Судя по нынешнему состоянию нашего общества, оптимальным вариантом стало бы эссе, которое предполагает более свободное выражение мыслей. Жестко заданная форма ЕГЭ мне не очень симпатична, с другой стороны, сейчас век прагматизма, всем хочется заданной формы. Тем более что такой предмет как литература вообще не должен укладываться в формат ЕГЭ. Наша литература, как и любая хорошая литература, – это литература вопросов, а не ответов. Она побуждает к размышлениям, предлагает разные варианты ответов, но окончательный вариант – никогда.

Литература при определенных условиях может повлиять на становление личности. Но если Толстой будет говорить об одном, а среда, информационное пространство, в котором живет человек, о другом, неизвестно, что перетянет. Заметьте, во всем мире нет отдельного предмета «Литература», в отрыве от языка она никогда не изучается. Есть «Французский язык», «Немецкий язык», «Английский язык»... В лучшем случае – дополнительные элективные курсы для старших классов. Неоспоримо, что литература – это высшее проявление языка, а все остальное – это

наши высокие цели, задачи воспитания патриота и гражданина, формирование эмоционального восприятия. Человек, который прочитал «Войну и мир», не обязательно станет патриотом. Патриотизм воспитывается семьей и обществом. Когда в целом среда формирует, уроки литературы тоже помогают. А если нет – они даже вступают в некоторое противоречие.

Считаю, что учителю необходимо иметь оригиналы художественных текстов, обязательно несколько серьезных словарей – несмотря на Интернет! А из методических пособий я бы посоветовал перечитать М.А. Рыбникову. Я очень хорошо отношусь к тому, что делали М.Г. Качурин и В.Г. Маранцман. Их методические работы мне кажутся очень грамотными.

*Елена Олеговна Галицких, зав. кафедрой русской и зарубежной литературы Вятского государственного гуманитарного университета:*

– Я преподаю методику преподавания литературы, детскую литературу, литературное краеведение, технологии филологического исследования и целый ряд предметов, связанных с теорией и методикой профессионального педагогического образования. Также работаю с учителями в институте развития образования, где они повышают свою квалификацию.

Что позволяет мне сохранить оптимизм в жизни? Вера в ребенка, в человека, в то, что каждое последующее поколение должно быть лучше предыдущего. А еще хорошая поэзия обладает терапевтической функцией, умеет возвращать силы, лечит печали, воодушевляет, заставляет думать. Напр., стихотворение Равиля Бухараева:

Зряще меня в усталости,  
В изнеможенье жил,  
Боже, пошли мне радости,  
Хоть и не заслужил,

Чтоб с головой повинной  
Вспомнил, что я живой,  
Прежде, чем стану глиной,

Листьями и травой.

Боже, пошли мне радости  
Светлой и задарма,  
Чтобы, пугаясь праздности,  
Я не искал ярма.

Чтоб, не смиряя взора,  
Помнил, что тщетна смерть:  
И в небесах опора,  
И под ногами твердь.

Вклад учителя словесности в становление духовно-нравственного сознания человека фундаментален, очень ответственен, исключительно важен, ведь он определяет самосознание подрастающего человека – ребенка. Нравственные основы, конечно, закладываются в семье, потому что маленький человек в 5 лет уже личность. Как говорила Марина Цветаева, «во мне все было рождено до 5 лет». Именно в школе формируется мировоззрение, дисциплинируется мысль, накапливается эмоциональный опыт. Многие знаменитые люди с благодарностью вспоминают своих Учителей. Совершенно замечательно Альберт Анатольевич Лиханов, известный детский писатель и общественный деятель, говорит о своей первой любимой учительнице А.Н. Тепляшиной, он даже учредил премию в честь ее имени. И если кто-то из людей известных или не очень говорит о своих учителях плохо, я всегда этому человеку перестаю доверять. Потому что хороший ученик даже у плохого учителя умеет научиться нужному и важному.

Мне всю жизнь везло на хороших учителей, на уникальных личностей. Моя первая учительница М.А. Золотарева, мой классный руководитель Г.В. Баженова, с которой мы до сих пор переписываемся, уникальная учительница литературы – моя мама, Т.М. Белоусова. Уникальные педагоги были в вузе: Н.П. Зергина, Л.Н. Макарова, А.Г. Балыбердин. А в РГПУ им. А.И. Герцена, где я заканчивала аспирантуру, среди моих учителей, были В.Г. Маранцман, З.И. Васильева, Г.И. Щукина, В.С. Роботова... Это имена, которые знает весь педагогический мир.

---

Интеграция русского языка и литературы в старшей школе очень важна, потому что ее результатом является слово, речь. Плутарх говорил, что смысл образования заключается в развитии двух вещей – разума и речи. Русский язык и литература неразрывно связаны, но неправильно их объединять в один предмет. Напр., будут только уроки русского языка. А ведь уроки литературы – это уроки, на которых звучит художественный текст, происходит диалог автора и читателя. На уровне концептов их можно интегрировать, на уровне учебного времени – нельзя, уйдет процесс чтения. Если мы исключим литературу, мы потеряем читателя, потому что школьник – самый квалифицированный читатель. Но русский язык – это система, а литература – это все пространство художественных текстов.

На сегодняшний день я бы рекомендовала вам книгу А.П. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени».

Подготовила И. Дубова

## НОВЫЕ КНИГИ



Козубовская Г.П. Поэзия А. Фета и мифология: Учебное пособие. – Москва: Флинта: Наука, 2012. – 252 с.

В пособии мифопоэтика А. Фета рассматривается в связи с его «органической» теорией и динамикой поэтического мышления. В центре внимания формирование художественного метода поэта – «ассоциативного символизма».

Мир как Космос (мифосимволизм и мифопоэтическая картина мира, лирический субъект и его метаморфозы и т.д.) и мир как текст (сюжет и мифологический подтекст, «лирические персонажи» и их культурные коды и т.д.) исследуются в органике мира-мифа и в связи с «семантической поэтикой» Фета, преломляющей законы Космоса.

Пособие адресовано специалистам филологического профиля, культурологам, учителям-словесникам школ, гимназий и всем, интересующимся русской культурой.



Бринев К.И. Справочник по судебной лингвистической экспертизе. – 2013. 200 с..

В настоящей книге отражены теоретические и методические основы проведения судебной лингвистической экспертизы, представлены примеры лингвистических экспертиз по различным категориям дел, описаны пределы компетенции лингвиста-эксперта.

Издание ориентировано на практикующих экспертов, специалистов, преподающих судебную лингвистическую экспертизу, а также судей, следователей, дознавателей, адвокатов, юрисконсульты.